



© 2025. Николай Подосокорский

История в творчестве Ф.М. Достоевского. Как исторические реалии создают в художественных произведениях дополнительный сюжет

Информация об авторе: Николай Николаевич Подосокорский, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура», Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия.

<https://orcid.org/0000-0001-6310-1579>

E-mail: n.podosokorskiy@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена роли истории в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского и тому, как через присутствующие в тексте художественных произведений писателя исторические реалии создается дополнительный сюжет второго плана. На примере шести произведений разных жанров («Господин Прохарчин», «Двойник», «Дядюшкин сон», «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы»), хронологически охватывающих практически весь период творчества Достоевского, с 1846 по 1880 год, рассмотрено формирование такого рода вспомогательных историко-мифологических сюжетов путем переплетения в тексте нескольких элементов *исторического*: имени, числа, вещи, события и цитаты.

В статье показано, что главным из них является легендарное имя того или иного исторического деятеля, которое, как правило, и запускает процесс создания еще одного уровня сюжета, существующего на грани истории и литературы. Исследование, главным образом, сосредоточено на важнейшем для творчества Достоевского наполеоновском мифе, но, помимо Наполеона I, в нем рассматриваются также и другие легендарные имена, непосредственно упоминаемые героями писателя: Ликург, Солон, Аттила, Магомет, Чингисхан, Тамерлан, Кеплер, Ньютон, Пугачев, Суворов, Кутузов, Талейран, Наполеон III и др.

Ключевые слова: теория литературы, история в художественном произведении, наполеоновский миф, наполеоновская легенда, наполеоновские войны, Солон, Ликург, Аттила, Магомет, Ньютон, Пугачев, Суворов, Кутузов, Талейран, Наполеон, Наполеон III, «Господин Прохарчин», «Двойник», «Преступление и наказание», «Дядюшкин сон», «Идиот», «Братья Карамазовы», Достоевский.

Для цитирования: Подосокорский Н.Н. История в творчестве Ф.М. Достоевского. Как исторические реалии создают в художественных произведениях дополнительный сюжет // Авторские теории творчества / под ред. Т.А. Касаткиной. М.: ИМЛИ РАН, 2025. С. 273–391. <https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0779-3-273-391>

© 2025. Nikolay N. Podosokorsky

History in Dostoevsky's Works. How Historical Realities Create an Additional Plotline in Literary Art

Information about the author: Nikolay N. Podosokorsky, PhD in Philology, Senior Researcher, Research Centre “Dostoevsky and World Culture,” A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia.

<https://orcid.org/0000-0001-6310-1579>

E-mail: n.podosokorskiy@gmail.com

Abstract: The article is devoted to the role of history in the life and work of Fyodor Dostoevsky and how the historical realities present in the text of his fictional works create an additional plot line. Using six works of different genres (“Mr. Prokharchin”, *The Double*, *Uncle's Dream*, *Crime and Punishment*, *The Idiot* and *The Brothers Karamazov*), which chronologically cover almost the entire period of Dostoevsky's work from 1846 to 1880, the article examines the formation of historical and mythological subplots through the interweaving of various historical elements in the text: names, numbers, things, events and quotations. The article shows that the most important of these is the legendary name of a historical figure, which usually initiates the process of creating another level of the plot that exists on the edge of history and literature. The study focuses mainly on the Napoleonic myth, which is the most important for Dostoevsky's work, but it also examines other legendary names, in addition to Napoleon I, which are directly mentioned by the author's heroes: Lycurgus, Solon, Attila, Mohammed, Genghis Khan, Tamerlane, Kepler, Newton, Pugachev, Suvorov, Kutuzov, Talleyrand, Napoleon III and others.

Keywords: literary theory, history in fiction, Napoleonic myth, Napoleonic legend, Napoleonic wars, Solon, Lycurgus, Attila, Mohammed, Newton, Pugachev, Suvorov, Kutuzov, Talleyrand, Napoleon, Napoleon III, “Mr. Prokharchin”, *The Double*, *Crime and Punishment*, *Uncle's Dream*, *The Idiot*, *The Brothers Karamazov*.

For citation: Podosokorsky, N.N. “History in Dostoevsky's Works. How Historical Realities Create an Additional Plotline in Literary Art.” Kasatkina, T.A., editor. *Authorial Theories of Art*. Moscow, IWL RAS Publ., 2025, pp. 273–391. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0779-3-273-391>

Все творчество Ф.М. Достоевского пронизано обращением к истории — всемирной и российской. «Уже в начале своего творческого пути Достоевский выразил глубинное желание стать “художником в науке”, — отмечает А. Штейнберг. — “Наукой”, которую он стремился развить при помощи художественных средств, была последовательная система моральной философии, основанная на общей философии истории. Окрыленный этой целью, Достоевский сумел обогатить литературу, ввести в неё новый синтез конкретной образности и абстрактной мысли» [Штейнберг, 2017, с. 339]. По убеждению самого писателя, «чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 99]. Именно в этом отношении история понималась им как «наука будущего» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 122], стимулирующая человеколюбие и всеединство.

Герои произведений Достоевского увлеченно читают, обсуждают, покупают, продают и сочиняют исторические труды, постоянно обращаются в своих диалогах и монологах к различным историческим примерам (из политической, военной, церковной истории, истории права и др.), усердно учат историю и настойчиво призывают других к ее постижению. В романе «Бедные люди» (1846) студент Покровский учит истории и другим предметам «препонятливую девочку» Сашу [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 31]. В романе «Неточка Незванова» (1849) главная героиня рассказывает, как чтение исторических книг превращало ее саму в непосредственную участницу изучаемой истории [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 231]. Пробовал «всемирную историю проходить» с дочерью Соней и титулярный советник Семен Мармеладов [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 16].

В романе «Идиот» на недостаточное историческое образование указывают Настасья Филипповна — Рогожину («Ты бы образил себя хоть бы чем, хоть бы “Русскую историю” Соловьева прочел, ничего-то ведь ты не знаешь» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 176]), и Аглая Епанчина — князю Мышкину («<...> я заметила, что вы ужасно необразованны; вы ничего хорошенько не знаете, если справляться у вас: ни кто именно, ни в котором году, ни по какому трактату? Вы очень жалки» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 430]). В «Бесах» Лизавета Тушина училась у Степана Трофимовича Верховенского с восьми лет до одиннадцати, и он рассказывал ей «какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были занимательнее арабских сказок» [Достоевский, 1972–1990, т. 10, с. 59].

Чрезвычайно интересовался историей с раннего детства и сам Достоевский. В «Дневнике писателя» за 1873 год он вспоминал: «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным» [Достоевский, 1972–1990, т. 21, с. 134]. Младший брат писателя Андрей Достоевский (1825–1897) приводит в своих мемуарах подробности этого семейного чтения: «Чтения эти существовали, кажется, постоянно в кругу родителей. С тех пор как я начинаю себя помнить, они уже происходили. Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья, еще до поступления их в пансион; впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители. Читались по преимуществу произведения исторические: “История Государства Российского” Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще читались последние тома — IX, X, XI и XII, так что из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений <...>» [Достоевский, 1992, с. 70]. Как далее отмечает мемуарист относительно брата Федора: «История же Карамзина была его настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького. <...> Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные, а также и попадавшиеся романы» [Достоевский, 1992, с. 71].

Сильное влияние на формирование мировоззрения юного Достоевского оказали исторические романы Вальтера Скотта. Вспоминая о своем детстве в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861), Достоевский отмечал, что такого рода чтение содействовало развитию его воображения, и он сам представлял себя разными героями истории древности и средних веков: «Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа “Монастырь” Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душой моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище» [Достоевский, 1972–1990, т. 19, с. 70].

В период обучения будущего писателя в пансионе Л.И. Чермака в 1834–1837 годах его преподавателем географии и истории был надворный советник К.М. Романовский [Федоров, 1974, с. 147]. Основным учебным пособием для поступивших воспитанников была первая часть «Руководства к познанию всеобщей политической истории»

И.К. Кайданова, посвященная древности. Как отмечает Е.Л. Смирнова: «На первых же страницах руководства автор указывал — в том числе и со ссылкой на Цицерона, знаменитое высказывание которого “*Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae et nuntia vetustatis*”¹ (Cic. De orat., II, 9) приведено в учебнике на латинском языке, — что история “содействует к распространению на свете царства истины, мудрости и добродетели”. И.К. Кайданов сообщал ученикам, что “просвещенный историей подобен человеку, живущему несколько тысячелетий и видевшему все перевороты, случившиеся в свете”, — и добавлял: “Гений Истории, образуя умы и сердца ваши, приведет вас наконец к главной, конечной цели изучения сей науки: в возвышении и падении Царств и народов, он покажет вам чудесные действия премудрости и правосудия Творца вселенной, по магию Коего Царства рождаются, возрастают и исчезают в океане времен”» [Смирнова, 2021, с. 12–13].

При сдаче вступительных экзаменов в Главное инженерное училище в сентябре 1837 года Ф.М. Достоевский получил высший балл по истории [Нечаева, 1979, с. 63]. Первые его литературные опыты в самом начале 1840-х годов были связаны с попыткой написать сочинения на исторические темы «Мария Стюарт» и «Борис Годунов» [Викторович, 2023], [Викторович, 2024], о чем мы знаем благодаря свидетельствам мемуаристов [Ризенкампф, 1990, с. 179], [Сараскина, 2011, с. 113]. По Кайданову Достоевскому преподавали историю и в Главном инженерном училище². В «Дневнике писателя» за 1877 год Досто-

¹ «А сама история — свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины» [Цицерон, 1994, с. 233].

² Речь идет о следующих изданиях: «1) Учебная книга всеобщей истории. (Для юношества). История средних веков: От переселения народов и падения Западной Римской империи до открытия Америки и до преобразования (реформации) западной церкви, или от конца V до конца XV и начала XVI веков / соч. проф. И.[К.] Кайданова. СПб.: печатано при Имп. Академии наук, 1837; 2) Руководство к познанию всеобщей политической истории, сочиненное профессором Императорского Царскосельского лицея Иваном Кайдановым. Ч. 1–3. 6-е изд. СПб.: при Имп. Академии наук, 1837. (Ч. 2: История Средних веков); 3) Краткое начертание российской истории, составленное, для руководства при первоначальном изучении российской истории, профессором Иваном Кайдановым. 3-е изд. СПб.: В тип. Имп. Академии наук, 1836; 4-е изд. СПб.: тип. Имп. Академии наук, 1838» [Маскевич, 2019, с. 68].

евский напишет, что «все почти европейские дипломаты учились по “Кайдашке”» [Достоевский, 1972–1990, т. 25, с. 148].

По воспоминаниям ротного офицера при Главном инженерном училище А.И. Савельева, во время учебы «Достоевского <более> занимали лекции истории и словесности Турунова и Плаксина, чем интегральные исчисления, уроки Тер-Степанова, Черневского» [Савельев, 1990, с. 167]. После Я.Н. Турунова курс истории Достоевскому читал декан и ректор Императорского Санкт-Петербургского университета, профессор И.П. Шульгин [Маскевич, 2019, с. 76].

В своих показаниях по делу петрашевцев 1849 года молодой литератор объяснил свое повышенное внимание к происходящим на Западе революциям и переворотам тем, что он «страстно любит исторические науки» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 162]. Последнее было правдой: будучи узником Петропавловской крепости, Федор в письме к брату Михаилу от 27 августа 1849 года писал: «Хочешь мне прислать исторических сочинений. Это будет превосходно» [Достоевский, 1972–1990, т. 28, с. 158]. В письме к нему же, но уже из Семипалатинска 27 марта 1854 года ссыльный писатель вновь проявил свой неослабевающий интерес к историческому чтению: «А теперь попрошу у тебя книг. Пришли мне, брат. Журналов не надо; а пришли мне европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних (Геродота, Фукидита, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодора и т. д. Они все переведены по-французски)» [Достоевский, 1972–1990, т. 28, с. 179].

Позднее, после своего освобождения и возвращения в Петербург Ф.М. Достоевский имел уже в собственной домашней библиотеке богатое собрание трудов (на иностранных языках и в русских переводах) историков Тацита, Г.Т. Бокля, Ф. Гизо, О. Йегера, Т. Карлейля, А. Ламартина, А. Тьера, У.Х. Прескотта, Ф.К. Шлоссера и др. В его собрании хранились книги по античной истории, истории Испании XVI века, французской истории XVIII века, истории наполеоновских войн, французских революций и проч. [Библиотека Ф.М. Достоевского, 2005, с. 21]. Не менее широко были представлены в библиотеке Достоевского и сочинения, посвященные истории России: «Акты по истории Южной и Западной России», изданные Археографической комиссией, и «Дополнения к Актам»; книга Г.К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича»; «Записки императрицы Екатерины II»; «История государства Российского» Н.М. Карамзина; труды С.М. Соловьева, И.Е. Забелина, И.М. Снегирева, В.И. Сергеевича, М.П. Погодина; работы по истории Крымской войны, Восточному вопросу и др. Большой интерес у писателя вызывала также история Древней Руси и проч. [Библиотека Ф.М. Достоевского, 2005, с. 21].

Сам страстно любивший историю, писатель еще в 1847 году с горечью констатировал, что ни русский народ, ни люди «образованные» не знают толком отечественной истории: «Скажут: народ наш чтит память старинных царей и князей земли русской, погребенных в московском Архангельском соборе. Хорошо. Но кого же знает народ из царей и князей земли русской до Романовых? Он знает трех по имени: Дмитрия Донского, Иоанна Грозного и Бориса Годунова (прах последнего лежит в С<вято>-Троицкой лавре). Но Бориса Годунова народ знает только потому, что он выстроил “Ивана Великого”, а о Дмитрие Донском и Иване Васильевиче наскажет таких диковинок, что хоть бы и не слушать совсем. Редкости Грановитой палаты тоже совсем неизвестны ему, и, вероятно, есть причины такого непонимания своих исторических памятников в русском народе. Но скажут, пожалуй: что же народ? Народ темен и необразован, и укажут на общество, на людей образованных; но и восторг людей образованных к родной старине, и беззаветное стремление к ней всегда казалось нам навеянным, головным, романтическим восторгом, кабинетным восторгом, потому что кто у нас знает историю? Исторические сказки очень известны; но история в настоящее время, более чем когда-нибудь самое непопулярное, самое кабинетное дело, удел ученых, которые спорят, обсуживают, сравнивают и не могут до сих пор согласиться в самых основных идеях; ищут ключа к возможному объяснению таких фактов, которые более чем когда-либо стали загадочными. Мы не спорим: никакой русский не может быть равнодушен к истории своего племени, в каком бы виде не представлялась эта история; но требовать, чтобы все забыли и бросили свою современность для одних почтенных предметов, имеющих антикварное значение, было бы в высочайшей степени несправедливо и нелепо» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 25–26].

Таким образом, интерес писателя к истории предполагал ее постижение через глубинное исследование современности. Как отмечает историк Л.В. Черепнин, «Достоевский обладал историческим характером мышления. Он искал исторические корни современных ему явлений, воспринимал их не статически, а в динамике, не как простые события, а как процессы» [Черепнин, 1968, с. 148].

Ряд произведений Достоевского жанрово определен автором как «летопись» («Петербургская летопись», «Дядюшкин сон») или «хроника» (роман «Бесы») и т.п., что позволяет формально отнести их к «исторической литературе» в широком смысле. «Историческая литература» создается и внутри самих произведений писателя. К примеру, Ордын в «Хозяйке» (1847) является автором сочинения по истории церкви [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 318]. В повести «Село Степан-

чиково и его обитатели» (1859) после смерти Фомы Опискина в его комнатах была обнаружена рукопись с «началом исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии» [Достоевский, 1972–1990, т. 3, с. 130]. Степан Трофимович в «Бесах» пишет «Рассказы из испанской истории» [Достоевский, 1972–1990, т. 10, с. 61, 235]. А произведения начинающего писателя Ивана Петровича, героя романа «Униженные и оскорбленные» (1861) его близкие поначалу оценивают через призму исторических романов того времени: «И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались; и всё это таким простым слогом описано, ни дать ни взять, как мы сами говорим... Странно!» [Достоевский, 1972–1990, т. 3, с. 188].

Некоторые герои писателя создают собственные оригинальные историософские теории (как Родион Раскольников) или выступают с разоблачением уже существующих теорий. Так, в «Записках из подполья» (1864) критикуется прогрессистское понимание истории, выразителями которого в XIX веке были многие влиятельные европейские философы, включая А. Сен-Симона, Г.В.Ф. Гегеля, О. Конта, Д.С. Милля, Г. Спенсера и др. Идея прогресса «предполагает, что человечество улучшало свое состояние в прошлом (от некоего первобытного состояния примитивности, варварства или даже ничтожества), продолжает двигаться в этом направлении сейчас и будет двигаться и дальше в обозримой перспективе» [Нисбет, 2007, с. 35].

Против этой идеи, с ее верой в постоянное и всеобщее смягчение общественных нравов и в то, что человек с каждым новым веком делается всё разумнее и просвещеннее, направлены обличительные речи подпольного парадоксалиста: «Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит! Недаром же г-н Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских — уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, — согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, всё можно сказать о всемирной истории, всё, что только самому расстроенному воображению в голову

может прийти. Одного только нельзя сказать, — что благоразумно. На первом слове поперхнетесь» [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 116].

«Записки из подполья» совершили настоящий переворот в мировой философской мысли, хотя были оценены по достоинству лишь в XX столетии. Герой «Записок», опережая свое время, указывал на то, что человек зачастую действует нерационально и, казалось бы, в ущерб своим непосредственным интересам: «А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно» [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 119].

Дмитрий Разумихин в «Преступлении и наказании» обрушивается с критикой на не менее распространенное в то время понимание истории как процесса развития человечества, детерминированного социально-экономическими причинами: «Я тебе книжки ихние покажу: всё у них потому, что “среда заела”, — и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагаются! У них не человечество, разившись историческим, *живым* путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит всё человечество и в один миг делает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю: “безобразия одни в ней да глупости” — и всё одною только глупостью объясняется! Оттого так и не любят *живого* процесса жизни: не надо *живой души!*»³ [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 196–197].

Большое место история занимает в редакторской и публицистической⁴ деятельности Достоевского [Волкова, 2016]. Несмотря на то,

³ Курсив в цитатах принадлежит автору цитат, полужирный шрифт в цитатах — мне. — Н.П.

⁴ У.С. Любятинская в своей кандидатской диссертации, специально посвященной изучению исторических воззрений Достоевского на материале его «Дневника писателя», делает нетривиальный вывод, который, впрочем, еще ожидает своего надлежащего обоснования, называя писателя «профессиональным историком» [Любятинская, 2006, с. 14].

что герои писателя критиковали идею исторического прогресса, сам Достоевский ее по-своему принимал, но лишь как идеал, к которому можно приблизиться путем больших усилий, а не как объективный закон, действие которого почти никак не зависит от жизненных стремлений и поступков отдельных людей. История, по его мнению, есть не что иное, как «картина уничтожения» неестественных, выдуманых человеком (часто «ошибочно, неумело, глупо») «долгов и обычаев» и «постепенного приближения человечества к законному, естественному, нормальному долгу» [Достоевский, 1972–1990, т. 19, с. 130].

В журналах «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865), издаваемых братьями М.М. и Ф.М. Достоевскими, печатались, в том числе, и исторические материалы — по истории Пруссии, Италии, Польши, английских университетов, папства и проч. [Нечаева, 1972, с. 143, 156–157, 163], [Нечаева, 1975, с. 67, 89, 91]. Как пишет В.С. Нечаева: «Для журнала “Время” был характерен повышенный интерес к русской истории: почти во всех книгах журнала были помещены исторические статьи. Значительно слабее этот интерес выражен в “Эпохе”, хотя Ф.М. Достоевский еще в период ее организации задумывал выступить с исторической статьей в связи с возникшей в печати полемикой между Н.И. Костомаровым и Погодиным» [Нечаева, 1975, с. 109].

Особого внимания заслуживает перевод статьи немецкого историка Г.Г. Гервинуса (1805–1871) «Теоретический очерк истории», опубликованный в ноябрьском номере «Времени» за 1861 год. В предисловии переводчика к этой статье, в частности, сообщалось: «История имеет дело с чисто человеческой жизнью, с самыми разнообразными и многосторонними ее проявлениями. Немудрено поэтому, если в настоящее время история не только что разрабатывается сама по себе, как особая специальность, но и становится центром, к которому тяготеют другие области знаний — политические и юридические, философия и даже психология. Будучи в основании чисто теоретическим знанием, эти науки приобретают тем более силы и тем ближе становятся к истине, чем ближе становятся к истории, чем тверже опираются на факты, предлагаемые ею... То же значение получает история при решении даже текущих вопросов политической газеты и журнального фельетона» [Время, 1861, с. 245].

Сам Гервинус в своей статье называет историю видом *искусства* и сравнивает ее с литературой и философией, которые также по-своему выражают действительный мир человека. «Действительность, настоящая основа и почва историка, есть вместе с тем основа и почва всего. Поэт возвышается над нею, философ погружается в нее: он забывает ее, отыскивая ее законы, но исходная точка того и другого — действи-

тельный мир» [Время, 1861, с. 252]. По мнению немецкого ученого, история «учит нас рассматривать общественные отношения согласно целому; она убивает в нас своекорыстие, эгоизм, всякую аристократическую исключительность и, разоблачая дух древности, учит нас пользоваться настоящей жизнью» [Время, 1861, с. 282].

Наконец (и эта мысль Гервинуса была особенно близка Достоевскому), «постоянное убеждение в бренности человеческих явлений, но вместе с тем сокрытая в них целесообразность, смена жизни и смерти, перемежающееся сознание свободы и сил человека, и с другой стороны **зависимости его от высших сил**, — все это вводит сдержанность в жизнь и суждения. **История ведет своих адептов в высший мир**, и они тем легче могут быть постоянно обдуманы и невозмутимы; трудно вызвать в них удивление, ибо пред глазами их ежеминутно проходят лучшие цветы мировой жизни; того не может прельстить мимолетное, кто переживает сердцем и умом вековую жизнь целых народов» [Время, 1861, с. 283].

История, как полагал Достоевский, давно выработала вековые идеалы красоты, которые стоили человечеству больших усилий, и для понимающего человека крайне важно уважительно относиться к этому опыту: «<...> мы говорили о потребности красоты, и о том, что у человечества уже определились отчасти ее вековые идеалы (так что всё это уже стало всемирной историей и связано общечеловечностью с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно), — не говоря уже о том, заметим утилитаристам, что ведь можно относиться к прошедшей жизни и к прошедшим идеалам и не наивно, а исторически. При отыскании красоты человек жил и мучился. Если мы поймем его прошедший идеал и то, чего этот идеал ему стоил, то, во-первых, мы выкажем чрезвычайное уважение ко всему человечеству, облагородим себя сочувствием к нему, поймем, что это сочувствие и понимание прошедшего гарантирует нам же, в нас же присутствие гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развития» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 96].

За несколько месяцев до своей кончины Достоевский в письме Н.Л. Озмидову от 18 августа 1880 года составил список для чтения его дочери, в котором, наряду с произведениями В. Скотта, И.В. Гете, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ч. Диккенса, Л.Н. Толстого и других писателей, особо были выделены собственно исторические труды: «Хорошо прочесть всю историю Шлоссера⁵ и русскую Соловьева. Хорошо

⁵ О присутствии «Истории» Шлоссера в творчестве Достоевского см.: [Подосокорский, 2023а].

не обойти Карамзина. Костомарова пока не давайте. Завоевание Перу, Мексики Прескотта необходимы. Вообще исторические сочинения имеют огромное воспитательное значение» [Достоевский, 1972–1990, т. 30, с. 212]. «Систематически» заняться историей для «расширения круга зрения» и «повышения уровня мыслей» Достоевский советовал и своему пасынку П.А. Исаеву [Достоевский, 1972–1990, т. 29, с. 167]. Показателен и совет, данный писателем племяннице С.А. Ивановой: «Кстати: если примете мою мысль, то запаситесь как-нибудь, в деревню всей “Consulat et l’Empire”⁶ Тьера, на первый случай; в ней слишком много современной истории, и читайте не как роман, а, так сказать, изучая. Это на первый случай; но, конечно, надо прочесть серьезно подобных книг, может быть, 50, чтоб иметь серьезное и твердое знание, **твердое основание для искусства**» [Достоевский, 1972–1990, т. 28, с. 293].

Цель настоящей статьи — показать, как исторические реалии, пропущенные через гениальное творческое сознание автора, влияют на поэтику Достоевского и придают его художественным сочинениям дополнительный объем и смысл. Можно условно выделить несколько основных элементов *исторического* в произведениях Достоевского: имя (от Ликурга и Кира Персидского до Джузеппе Гарибальди и Отто фон Бисмарка), число (значимая дата или обозначение некоего важного периода), вещь (в ее роли может выступать что угодно — от книги по истории как предмета до символической детали в виде наполеондора или портрета Екатерины II), событие (отсылки ко взятию Казани Иваном Грозным, казни мадам Дюбарри, битве при Ватерлоо, Крымской войне и т.п.) и цитата (не всегда точная и подлинная и часто — перифразированная или приписываемая тому или иному историческому деятелю).

Все эти элементы не существуют изолированно, но тесно переплетены друг с другом и либо являются органическими частями вставного исторического повествования, непосредственно формализованного автором (таковы, например, воспоминания отставного солдата Астафия Ивановича о его участии в войнах с Наполеоном в 1812–1814 годах в журнальной версии рассказа «Честный вор» или выдуманный анекдотический рассказ генерала Иволгина о его службе камер-пажом

⁶ Чтобы в полной мере осознать масштаб данного Достоевским совета молодой девушке, стоит вспомнить, что только один названный труд Тьера состоял из 21 внушительного тома, а таких сочинений писатель предлагал прочесть 50 — для того, чтобы *начать* заниматься искусством!

у Наполеона в 1812 году в романе «Идиот»), либо сами образуют внутри произведения некий дополнительный сюжет второго плана, который не всегда очевиден без проведения тщательного филологического анализа и соответствующей историко-культурной реконструкции.

Обычно отправной точкой для разворачивания в произведениях Достоевского завуалированного историко-мифологического сюжета является прямое упоминание имени какого-то знаменитого деятеля вроде Цезаря или Наполеона, которое уже самим фактом своего появления в тексте актуализирует целый ряд связанных с ним легенд. Мы покажем, что в каждом конкретном случае речь идет вовсе не о цепи случайных и произвольных ассоциаций, связанных с тем или иным прославленным именем, но о создании внутри текста еще одного целостного историко-художественно мира, который как бы отодвинут на второй план в основном сюжете произведения, и в котором судьба вымышленных героев причудливым образом соединяется (через повторение, пародирование, продолжение и переосмысление разных ситуаций) с жизнью реальных исторических деятелей.

Важно также заметить, что это соединение отнюдь не сводится к моральному сопоставлению характеров и вообще к оценке нравственных качеств литературных героев и исторических фигур, но выражается именно в формировании некой дополнительной реальности (со своим специфическим сюжетом), существующей между мирами всеобщей истории и авторского искусства. Это можно назвать разновидностью мифотворчества Нового времени, которое одинаково питает и литературу (не давая ей целиком отойти от продолжающейся человеческой истории в область т.н. «чистого искусства»), и историю (истолковывая в произведении ее социокультурные последствия для жизни последующих поколений, но не прямым и дискурсивным, а художественным способом).

В этой статье мы разберем ряд таких дополнительных сюжетов второго плана на материале шести произведений писателя разных лет и жанров, и уже поэтому способных дать более-менее релевантное представление о роли и функции истории в творчестве Достоевского в целом. Эти шесть произведений: рассказ «Господин Прохарчин» (1846) и повесть «Двойник» (1846), созданные на начальном этапе творчества; повесть «Дядюшкин сон» (1859), написанная вскоре после возвращения с каторги; вершинные романы зрелого периода творчества — «Преступление и наказание» (1866) и «Идиот» (1868); финальный и самый значительный роман писателя «Братья Карамазовы» (1879–1880). Во всех них Достоевский не просто затрагивал и пытался осмыслить фигуру Наполеона как «квинтэссенцию человечества» (так

в одной из своих бесед с И.П. Эккерманом назвал Наполеона И.В. Гете [Эккерман, 1986, с. 173]), но и создавал собственные вариации наполеоновского мифа, без учета которых восприятие этого богатейшего историко-культурного явления сегодня просто невозможно.

Далее мы покажем, как в каждом из шести рассматриваемых произведений исторические реалии создают дополнительное сюжетное измерение, в котором на равных действуют и живут герои, рожденные историей и литературой.

Пугачев и Наполеон в «Господине Прохарчине»

В рассказе «Господин Прохарчин» (1846) Достоевский впервые в своем творчестве изобразил героя-наполеониста (в лице мелкого петербургского чиновника-скопидома), причем в соответствии с общим духом времени его идея связана не с желанием обретения власти как таковой, а с банальным денежным обогащением⁷. В ранних произведениях писателя в свернутом виде присутствуют все его большие идеи, которые раскрываются более объемно, ярко и полно в романах «Великого Пятикнижия». Не является здесь исключением и наполеоновская идея, пронизывающая как сочинения молодого Достоевского 1840-х годов, так и его последующие произведения, опубликованные после каторги и ссылки. В «Господине Прохарчине» мы, на первый взгляд, сталкиваемся с темой Наполеона в нарочито пародийном и предельно сниженном виде, но таков вообще метод Достоевского-художника, позволяющий ему через внешне смеховую, пародийную форму и ироничный стиль повествования раскрывать в речи, казалось бы, «незначительных» персонажей самые серьезные вопросы во всей их глубине⁸.

В.Н. Топоров справедливо оценивал «Господина Прохарчина» как экспериментальное сочинение, которое может существенно обогатить вдумчивого читателя, доверяющего автору. «Читатель, до-

⁷ О том, как в творчестве Достоевского связаны наполеоновская и ротшильдская идеи см.: [Подосокорский, 2020].

⁸ Специфичность юмора Достоевского хорошо видна на примере шуточной истории Лебедева в романе «Идиот», согласно которой он якобы в 1812 году схоронил на Ваганьковском кладбище свою ногу, отстреленную одним французским «шассером», и поставил на ее могиле памятник с эпитафией в виде стихов Н.М. Карамзина «Покойся, милый прах, до радостного утра». Эта эпитафия в точности повторяет (!) реальную эпитафию на могиле матери Ф.М. Достоевского, которую он очень любил [Подосокорский, 2009а, с 53].

верившийся тексту и вознагражденный за это доверие открытием новых элементов текста или новых связей этих элементов, начинает улавливать некую новую, нестандартную логику, вовлекается в диктуемую ею систему поиска и дешифровки, активизируя и усиливая свои исследовательские потенции и тем самым приближаясь к более полному и адекватному пониманию всего текста, который в данном случае выступает в функции устройства, обучающего читателя» [Топоров, 1995, с. 114]. Здесь, конечно, описано общее свойство художественных текстов Достоевского, но в «Господине Прохарчине» оно присутствует особенно выпукло, поскольку этот текст (как «Двойник» и «Бобок») можно отнести к наиболее энигматичным произведениям в творчестве писателя⁹.

Сама фигура главного героя — Семена Ивановича Прохарчина — окутана пеленой загадочности. Сообщается, что он «отличался тихостью и даже как будто таинственностью; ибо всё время последнего жития своего на Песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 246]. Вместе с тем, рассказчик вскоре дает понять, что его герой — вовсе не тот смиренный лежебока, коим кажется. Прохарчин только поначалу аттестован как «человек благонамеренный и непьющий» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 240], однако, доведенный до исступления слухами о фантастических нововведениях, касающихся работы чиновников, он внезапно оказывается на пожаре (не намек ли это на пожар Москвы, сгубивший Наполеона?) и окончательно повреждается в рассудке, подпав при этом под власть некоего «попрошайки-пьянчужки» Зимовейкина, «человека совсем скверного, буйного и льстивого» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 247]. Последний громогласно определяет Семена Ивановича как «вольнодумца», «буяна» и грозит на него «донести» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 256]. И.А. Аврамец пишет по этому поводу: «Вообще, описание “эволюции” героя от “благомыслящего и смиренного” человека к “впавшему в кураж вольнодумцу” полно намеков и недомолвок, как бы провоцирующих рассматривать героя в качестве “шкатулки с двойным дном”; иначе говоря, “таинственность” главного героя не раскрывается в результате внешне разрешенной сюжетной линии» [Аврамец, 1990, с. 58].

⁹ И.Ф. Анненский, напротив, назвал «Господина Прохарчина» «одной из самых четких иллюстраций к основной идее творчества Достоевского» [Анненский, 1979, с. 27], и отмечал в качестве главного мотива произведения — «непосильную для наивной души борьбу с страхом жизни» [Анненский, 1979, с. 27].

Одним из ключей для этой таинственной «шкатулки с двойным дном» является изучение и раскрытие наполеоновского подтекста рассказа, ибо та же Аврамец справедливо отмечает, что «неожиданный финал заставляет читателя “пересмотреть” сложившийся у него образ главного героя, ретроспективно оценивая его поступки и мотивы» [Аврамец, 1990, с. 64]. Симптоматично, что с обвинениями Зимовойкина в адрес Прохарчина оказываются солидарны и другие жильцы квартиры Устины Федоровны. Один из них Марк Иванович, патетически восклицает, обращаясь к заболевшему Семену Ивановичу: «Что ж вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, один, что ли на свете? для вас свет, что ли, сделан? **Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?..**» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 257].

Это, казалось бы, ничем не мотивированное повторение имени Наполеона, более похожее на магическое призывание духа знаменитого правителя и полководца (отмечу, что до этого момента о Наполеоне не вспоминали ни сам Прохарчин, ни другие персонажи, ни повествователь), формирует особый нерв рассказа, придавая тайне героя дополнительный историко-культурный объем. Не дождавшись ответа от Семена Ивановича, Марк Иванович в исступлении сам же и отвечает на свои риторические вопросы: «Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый, вот что!» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 255].

В такой своеобразной манере Марк Иванович, человек «умный и начитанный» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 241], похоже, обыгрывает пушкинские строки из романа «Евгений Онегин»:

Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно
[Пушкин, 1977–1979, т. 5, с. 36],

— давая понять чиновнику-скопидому, что тот вовсе не Наполеон и не «единица» (не «один на свете»), а что Семен Иванович — лишь «нуль», «круглый блин». Позднее эта дилемма будет стоять и перед героем «Преступления и наказания» Родионом Раскольниковым, пытающимся для себя понять — к какой категории людей он относится: необыкновенных, которым «все разрешается», или обыкновенных, с которыми можно особенно не считаться.

Вместе с тем, характерная особенность рассказа «Господин Прохарчин» в том и состоит, что все утверждения, декларируемые в нем как подлинные и несомненные, вскоре опровергаются, как не соответствующие действительности. Это касается и уверений относительно особого смирения и благомыслия господина Прохарчина, и отрицания Марком Ивановичем того обстоятельства, что Семен Иванович — тоже в своем роде Наполеон, полагающий, что для него «свет создан». В этом смысле любопытно рассмотреть имена жильцов, принимающих деятельное участие в судьбе «богатого нищего»: Судьбин, Океанов, Оплеваньев и проч. Все они напоминают об устойчивых элементах наполеоновской легенды, окончательно сформировавшейся в период ссылки Наполеона на остров Святой Елены. О великом избраннике Судьбы¹⁰, заточенном на клочке земли посреди Океана¹¹ (остров Святой Елены и по сей день остаётся одним из самых удалённых от основной цивилизации уголков мира) и оплеванном антибонапартистской пропагандой писали с восторгом и возмущением многие поэты, прозаики, драматурги, критики, публицисты и мемуаристы первой половины XIX века. А.С. Пушкин в оде на смерть Наполеона в 1821 году также отдал дань прославлению великого человека:

¹⁰ А.С. Пушкин в «Евгении Онегине» называет Наполеона «мужем судьбы» [Пушкин, 1977–1979, т. 5, с. 181]. Критик В.Г. Белинский в своих «Литературных мечтаниях» (1834) пишет о Наполеоне так: подобно страшному метеору, в начале XIX столетия «возник сын судьбы, облеченный всею ее ужасающею мощию, или, лучше сказать, сама судьба явилась в образе Наполеона, того Наполеона, который сделался властителем наших дум, говоря о котором и самая посредственность возвышалась до поэзии» [Белинский, 1953–1959, т. 1, с. 68]. Поэт В.Г. Бенедиктов в стихотворении «Ватерлоо» (1836) называет Наполеона «дивным мужем судеб» и «помазанником судьбины» [Бенедиктов, 1939, с. 91, 95]. П.А. Вяземский в очерке «Наполеон и Юлий Цезарь» (1836) также отмечает: «Наполеон должен был иметь такую веру в судьбу свою, столь чудесную и беспримерную, что он не мог отчаиваться до последней минуты: должен был ждать и не сходить с лица земли, пока земля носила его. Иначе Наполеон не был бы Наполеоном» [Вяземский, 1878–1896, т. 2, с. 231] и т.п.

¹¹ Характерны строки М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Последнее новоселье» (1841), посвященном переносу останков Наполеона I с острова Святой Елены в Париж: «Как будет он жалеть, печалию томимый, / О знойном острове под небом дальних стран, / Где сторожил его, как он непобедимый, / Как он великий, океан!» [Лермонтов, 2014, т. 1, с. 342].

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

[Пушкин, 1977–1979, т. 2, с. 60].

Примечательно, что Прохарчин в рассказе предстает «как будто **застывший или окаменевший**, походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 245]¹². В квартире Устиньи Федоровны он обитает «не то десять лет, не то уж пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 246]. В свете наполеоновской темы эти числа можно интерпретировать следующим образом: десять лет — время существования Первой империи Наполеона, пятнадцать лет — общее время пребывания Наполеона у власти, двадцать пять лет — период с начала Французской революции 1789 года и до падения Наполеона. Кроме того, Прохарчин больше полагался на собственный ум и не жаловал никаких «советников»: «Советников не любил никаких, выскочек тоже не жаловал и всегда, бывало, тут же на месте укорит насмешника или советника-выскочку, пристыдит его, и дело с концом» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 242]. Это перекликается с оценкой, которую дал Наполеону проникательный аббат Сийес после переворота 18 брюмера: «Он не нуждается ни в советниках, ни в помощниках; политика, законы, искусство правления так же знакомы ему, как командование армией» [Куриев, 2020, с. 192–193].

В общении с другими жильцами герой неожиданно представляет себя своенравным «благодетелем», к которому, в его воображении, будут обращаться за вспоможением покалеченные на войне солдаты. Одному из жильцов Прохарчин говорит в назидание «что-то вроде того, что когда Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему,

¹² В «Преступлении и наказании» Раскольников также будет связывать наполеоновскую идею с огублением человеческой плоти и статичным положением человека как «памятника». «Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась **какая-то вечность на “аршине пространства”**. В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильнее начинало его мучить» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 327]. Подробнее об этом см.: [Подосокорский, 2022b, с. 115–118].

дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку, и придет Зиновий Прокофьич и скажет: “Дай, добрый человек, Семен Иванович, хлеба!” — так не даст Семен Иванович хлеба и не посмотрит на буйного человека Зиновия Прокофьевича, и что вот, дескать, как, мол; поди-ка ты с ним» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 244]. Порой же герой вынужден действовать как «воитель», которому противостоит целая «коалиция» коварных жильцов: «Долго не думая, все хозяйкины жильцы **соединились** для дальнейших исследований и, собственно из одного любопытства, **решились наступить** на Семена Ивановича **гурьбою и окончательно**» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 244]. Такой пародийный прием описания бытовых конфликтов персонажей языком наполеоновских войн Достоевский позднее мастерски использовал и в комической повести «Дядюшкин сон», и в романе «Братья Карамазовы».

Отечественными достоевистами ранее уже анализировалась наполеоновская тема в «Господине Прохарчине», но, как представляется, крайне недостаточно. В.Н. Топоров обратил внимание на взаимодействие в рассказе «пугачевского» и «наполеоновского» слоёв: «На языке Марка Ивановича Наполеон — символ вольнодумства и бунта, ниспровержения устоявшегося, законного порядка, самозванства и, следовательно, во многом должен быть сближен с более русским вариантом разбойника пугачевского типа, так или иначе соотнесенного с Зимовейкиным [Пугачев был казаком Зимовейской станицы — *Н.П.*]» [Топоров, 1995, с. 167]. К наблюдениям Топорова стоит добавить, что Наполеон I был хорошо знаком с историей пугачевского восстания — о нем «ему могли рассказать по личным воспоминаниям, даже и не очень старые люди» [Троицкий, 1988, с. 220]. После занятия Великой армией Москвы в сентябре 1812 года император французов «приказал искать в московских архивах документы о Е.И. Пугачеве, чтобы использовать их для возбуждения русских крестьян против русского же дворянства» [Троицкий, 1988, с. 220]. И хотя от этих планов Наполеон все же отказался, в письмах самых разных российских современников войны 1812 года содержатся сравнения Бонапарта с Пугачевым [Искюль, 2017, с. 690–691].

Фигуры Емельяна Пугачева и Наполеона Бонапарта, как показал В.А. Кошелев, были сближены в цикле «Писем из Москвы в Нижний Новгород» И.М. Муравьева-Апостола (1813–1815) и в творчестве А.С. Пушкина [Кошелев, 2003]. Сравнение Пугачева и Наполеона можно найти и в романе М.Н. Загоскина «Рославлев, или русские в 1812 году» (1831): «И Пугач также прельщал народ, да умней был этого Бонапарта: назвался государем Петром Федоровичем — так не диво,

что перемутил всех православных; а этот что за выскочка?» [Загоскин, 1983, с. 77]. Н.А. Полевой (1796–1846) вспоминал, как в юности «смастерил целую драму», в которой изобразил Наполеона «почти разбойничьим атаманом» [Николай Полевой, 1934, с. 357].

И.А. Аврамец, опираясь на теоретические положения Топорова, делает следующий вывод: «Таким образом, новелла Достоевского пронизана аллюзиями и реминисценциями из самых разных источников (начиная Библией и кончая заметкой под названием “Необыкновенная скупость”, помещенной в 129 номере “Северной пчелы” за 1844 г.), благодаря чему образ героя превращается в гротескную многоликую и одновременно безликую фигуру, пародийно спроецированную на столь различных литературных и исторических героев. Перефразируя слова Пушкина, противопоставившего скупого у Мольера и Шекспира, можно сказать, что у Достоевского скупой не только скупой, но и “маленький человек” (или Акакий Акакиевич), не только Наполеон, но и “тварь дрожащая”, не только Антихрист (Нерон), но и герой жителя» [Аврамец, 1990, с. 63].

Значение образа Наполеона здесь неоправданно сужено относительно его реальной роли в рассказе. Тем более что из всех перечисленных Аврамец в этом фрагменте имен, только одно имя Наполеона присутствует в тексте рассказа непосредственно, да еще множество раз, то есть ни о какой полной «безликости» героя говорить не приходится. При этом повествователь особо подчеркивает, что после обвинений главного героя в «неудачном» наполеонизме со стороны Марка Ивановича, господин Прохарчин «не то чтоб устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 257]. И далее опять же без имени Наполеона никак не обходится: «Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 257]¹³.

Любопытны наблюдения И.А. Арамеца о том, что Зимовейкин повторяет историю героя «Мертвых душ» Павла Чичикова, «который “испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел

¹³ Аврамец объясняет упоминание имени Наполеона в «Господине Прохарчине» внутренним законом жанра новеллы; точно так же, как в ренессансной новелле упоминание имен реально живших несколькими десятилетиями назад королей порой истолковывается некоторыми комментаторами как не имеющий особого значения факт, а лишь «как штрих, оживляющий или создающий впечатление наивной достоверности, при обозначении той или иной социальной функции персонажа» [Шайтанов, 2001, с. 67].

много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его...” (“Мертвые души”) (ср.: “рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, <...> что поместили его, по ходатайству, в одну канцелярию, но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и отсюда <...> вместе же со всем этим за любовь к правде и по козням врагов” [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 257]» [Аврамец, 1990, с. 60]. А ходивший до Прохарчина в «фаворитах» у Устиньи Федоровны некий «увлеченный и исключенный» отставной, подобно гоголевскому капитану Копейкину, «имел одну ногу, там как-то тоже из храбрости сломанную» [Аврамец, 1990, с. 60]. Напомним, что капитан Копейкин потерял руку и ногу в одной из битв с наполеоновской армией — «под Красным ли или под Лейпцигом» [Гоголь, 2003–, т. 7, с. 188]. Чичиков же в поэме представляется чиновникам города не то как замаскированный капитан Копейкин, не то как переодетый Наполеон, ибо «лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона» [Гоголь, 2003–, т. 7, с. 194].

В работах Н.В. Черновой был преимущественно изучен балаганный, «петрушечный» контекст «Господина Прохарчина» [Чернова, 2000], [Чернова, 2001], рассмотрены некоторые литературные источники, вдохновившие Достоевского при написании этого рассказа и, в частности, очерк Д.В. Григоровича «Петербургские шарманщики» из сборника «Физиология Петербурга» (1845), где одна из кукол «в синем фраке и треугольной шляпе» у итальянца-шарманщика изображала Наполеона, вертящегося «вокруг безносых дам, с ног до головы облепленных фольгой» [Григорович, 1988, т. 1, с. 56]¹⁴.

В ряде работ достоевистов 1990-х годов утвердилось мнение, что упоминание имени Наполеона в «Господине Прохарчине» вполне случайно, и носит проходной, моралистический характер, как общее напоминание об эгоизме героя, является непонятной пародией ради самой пародии. Так, И.Л. Волгин писал, что «комическая пара Прохарчин-Наполеон вполне случайна» [Волгин, 1993, с. 135] и что «в своей прозе Достоевский впервые упоминает императора французов в контексте, не имеющем прямого отношения к деятельности названного лица», а «Наполеон [в нем] является не в своем конкретном историческом облике, а в, казалось бы, совершенно проходной вербальной роли» [Волгин, 1993, с. 133]. М.М. Наринский соглашается

¹⁴ О том, как образ Наполеона присутствовал в повседневной жизни и облике Петербурга в 1830-х — 1860-х годах см.: [Подосокорский, 2022b].

с мнением Волгина: «Конечно, жалкий скопидом никогда и не думал о каком-либо сходстве с великим императором, хотя в тюфяке своем среди прочих сбережений и хранил наполеондор, золотую монету с изображением Наполеона. Этой деталью, как подметил М.С. Гус [Гус, 1971, с. 78], “Достоевский иронически подчеркивает всю, казалось бы, несуразность сделанного Марком Ивановичем уподобления Наполеону или сопоставления с Наполеоном Прохарчина”» [Волгин, 1993, с. 135]. Л.В. Храмова и В.А. Михнюкевич также пишут: «В повести “Господин Прохарчин” <...> легендарное имя [Наполеона] — только знак личности, выбивающейся из общего ряда. В этом повествовании о жалком и ничтожном человеке понятие “наполеоновская идея” было использовано Достоевским как аргумент от противного, доказательство несостоятельности безграничного эгоизма. Само сочетание “Наполеон вы, что ли какой? (1; 257) — сигнал безразличной стертости, свойственной обывательскому представлению о великом человеке”» [Храмова, 1997, с. 101].

Здесь необходимо еще раз отметить, что в поэтике Достоевского вообще нет «случайных» имен, тем более таких мифологизированных и резко меняющих всю внутреннюю атмосферу произведения, как имя Наполеона. И если в художественном тексте писателя внезапно и «непонятно для чего» появляется такое имя, то это всегда требует лишь дополнительного к нему внимания и скрупулезного изучения всех возможных подтекстов и контекстов.

Хотя Волгин и Наринский все же говорят о неких точках соприкосновения характеров Наполеона и героя Достоевского, указывая на мотив *непомерной гордыни* обоих и вытекающей из нее владычествующей мысли о том, что *для них собственно свет и создан* (упрек Марка Ивановича), — все-таки из их работ остается совершенно неясно, зачем Достоевский вообще несколько раз упомянул имя Наполеона, невольно вызывающее в памяти у читателя удивительную историю жизни последнего? Ответ, надо полагать, кроется в финальной сцене вскрытия тюфяка героя.

Приведем здесь описание клада Прохарчина в рассказе: «Между тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла — и Боже! чего, чего не было тут... Благородные целковики, солидные, крепкие полторарублевники, хорошенькая монета полтинник, плебеи четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром, — всё в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. Были и редкости: два какие-то жетона, один наполеондор, одна неизвестно какая, но только очень редкая монетка... Некоторые из рублевиков относились тоже к глу-

бокой древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие крестовики, петровские монеты, екатерининские; были, например, теперь весьма редкие монетки, старые пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах, все совершенно истертые, но с законным количеством точек; даже медь была, но вся уже зеленая, ржавая... Нашли одну красную бумажку — но более не было. Наконец, когда кончилась вся анатомия и, неоднократно встряхнув тюфячий чехол, нашли, что ничего не гремит, сложили все деньги на стол и принялись считать. С первого взгляда можно было даже совсем обмануться и смекнуть прямо на миллион — такая была огромная куча! Но миллиона не было, хотя и вышла, впрочем, сумма чрезвычайно значительная, — ровно две тысячи четыреста девяносто семь рублей с полтиною, так что если б осуществилась вчера подписка у Зиновия Прокофьевича, то, может быть, было бы всего ровно две тысячи пятьсот рублей ассигнациями» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 261].

Ю.И. Мармеладов полагал, что именно из «Пиковой дамы» Пушкина Достоевский заимствовал эпитет «Наполеон», которым Марк Иванович награждает главного героя рассказа [Мармеладов, 1992, с. 63], — видимо, имея в виду внешнее сходство Германна с Наполеоном и его стремление разбогатеть. Л.П. Гроссман же сопоставил монеты из тюфяка Прохарчина с содержимым кошелька Евгении Гранде, героини одноименного романа О. де Бальзака, переведенного Ф.М. Достоевским на русский язык за несколько лет до создания «Господина Прохарчина». По наблюдению исследователя, Достоевский «транспонировал описание Бальзака в сферу русской монетной системы, сохранив все основные черты бальзаковской картины. “Редкая монета” говорится в обоих описаниях, и в обоих случаях описываются деньги, уже вышедшие из обращения — и тут и там денежные знаки XVIII ст. — времен Иоанна V и Филиппа V у Бальзака, эпохи Петра, Елизаветы и Екатерины у Достоевского. Наконец, особенно останавливающий внимание в описании Достоевского наполеондор в груде гривенников и четвертаков несомненно попал в тюфяк Прохарчина непосредственно из кошелька “Евгении Гранде» [Гроссман, 1925, с. 85].

Два этих описания, действительно, схожи: в них описываются разные старинные деньги, но общей монетой, которая присутствует в обоих текстах, является именно наполеондор (фр. *Napoléon d'or*, букв. «золотой Наполеон»). Мы не знаем, какой именно наполеондор хранил Семен Иванович в своем тюфяке: обыкновенный, двадцатифранковый, или двойной, как у Евгении, в сорок франков, но в любом случае на нем был изображен не кто иной, как Наполеон I, чего уже нельзя сказать с полной уверенностью о наполеондорах, упоминаемых в ро-

мане «Идиот, время действия которого происходит в последние годы существования Второй империи Наполеона III. Однако само наличие наполеондора — монеты-символа имперского могущества Франции, в засаленном, ветхом тюфяке Прохарчина заставляет отнести к проблеме наполеонизма героя еще серьезнее.

По нашему предположению, исторической основой рассказа о господине Прохарчине мог послужить курьезный случай, связанный с двоюродным дедом («дядей») Наполеона Бонапарта, архидиаконом Аяччо Люсьеном (Люциано/Лючиано) Буонапарте. Именно дядя Люсьен в 1771 году крестил маленького Наполеоне [Кирхейзен, 1997, с. 42], а в 1785 году, после смерти его отца, Карло Буонапарте, на семейном совете был избран опекуном Наполеоне и других детей своего племянника [Кирхейзен, 1997, с. 67]. Историки пишут об особой скупости архидиакона Люциано, старого подагрика, неустанно копившего деньги, которые он прятал под подушку, отказывая молодому офицеру Наполеоне в просьбах о денежном обеспечении его новаторских проектов [Кирхейзен, 1997, с. 78, 84]. Дядя, боявшийся всего неизвестного, даже дал прозвище Наполеоне «новатор». Как пишет В. Слоон: «Несмотря на молву об его богатстве, он сам упорно отрицал, чтобы у него имелись какие-либо наличные деньги» [Слоон, 1997, с. 60]. Вместе с тем, время от времени дядя все-таки посылал Наполеоне небольшие карманные деньги [Кирхейзен, 1997, с. 74], столь необходимые для бедного молодого офицера; что не было фантазией, в отличие от помощи Прохарчина своей «золовке», обитавшей в Твери.

В. Кронин приводит некоторые дополнительные подробности об отношениях скряги Люциано и семьи Буонапарте: «Он был завзятым сутягой. В течение года он пять раз обращался в суд по пяти отдельным случаям. Обычно выигрывал свои дела и на этом очень разбогател. Из соображений сохранности Лучиано прятал все деньги в виде золотых монет в своем матрасе. Остальная семья по контрасту с ним жила бедно. <...> Ничто не могло заставить его расстаться хотя бы с грошом. Когда деньги были нужны особенно сильно, очаровательную Полину отправляли к старику, и она во время игры в его комнате вытаскивала из матраса луидор-другой. Однажды девочка неловким движением сдвинула мешок, и он с грохотом упал на каменный пол. Сначала архидьякон потерял дар речи, а потом весь дом сотрясли его крики. Летиция вбежала в комнату и увидела, как он гневно трясется над своим драгоценным кладом, рассыпанным на полу. Он клялся “всеми святыми”, что это деньги друзей и клиентов. Летиция молча собрала деньги. Архидьякон пересчитал их, сунул в мешок, а мешок вновь спрятал в матрас» [Кронин, 2008, с. 64–65].

А вот что пишет А. Кастело о дне смерти дяди Люсьена: «В начале сентября 1791 г. он [Наполеоне] прибыл на Корсику, как раз вовремя, чтобы присутствовать при последнем вздохе своего дяди Люсьена, который умер 15 октября, оставив свояченице Летиции и племянникам вполне приличную сумму, целое состояние, которое он спрятал в своем тюфяке. Родственникам пришлось немало потрудиться, чтобы, наконец, обнаружить кубышку. Если верить Жозефу, то архидиакон, умирая, сказал будущему императору: “Ты, Наполеоне, станешь большим человеком!”» [Кастело, 2004а, с. 68]. Старый архидьякон, таким образом, не только завещал Наполеоне свое положение главы семьи Буонапарте и переложил на него ответственность за семерых его братьев и сестер, но и оставил денежные средства, которые спасли эту семью. С этого времени и до конца жизни Наполеон нес «отеческую» ответственность за семерых своих братьев и сестер (Жозефа, Люсьена, Людовика, Жерома, Полину, Каролину и Элизу), которые, когда он стал правителем Франции, постоянно требовали от него наград и денег. Однажды Наполеон даже печально пошутил по этому поводу: «Право, послушав их, можно сказать, что я присвоил наследство нашего отца!» [Леви, 2006, с. 134]. Этот факт, возможно, отражен в кошмаре Прохарчина: «Семен Иванович весьма испугался, и хотя был совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под одну кровлю, но на деле как будто именно так выходило, что виноват не кто другой, как Семен Иванович» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 250]. Заметим, что и имя Наполеона в разных его производных упомянуто в тексте рассказа Достоевского семь раз.

Д. Сьюард в книге «Семья Наполеона» так пишет о тюфяке дяди Бонапарта: «Наполеон искренне привязался душой к престарелому архидьякону, дяде Лючиано, бывшему патриархом рода Буонапарте. Средства существования дяди — золотые и серебряные монеты, которыми был набит его матрас (он копил их, откладывая каждое су), спасали семейство от незавидной участи пойти по миру. Он все еще получал кое-какой доход от церкви, хотя теперь его обязанности в соборе исполнял Феш. Старик был еще достаточно важной персоной, и крестьяне часто обращались к нему для разрешения споров. **Мы полагаем свидетельством самого Наполеона, что архидьякон Лючиано был для него вторым отцом и именно его советы помогли семье встать на ноги в финансовом отношении**» [Сьюард, 1995, с. 36].

Пользуясь наследством, полученным от архидиакона, и не скупясь на расходы, Наполеоне Буонапарте в марте 1792 года успешно провел избирательную кампанию, и в итоге был избран вторым подполковником Национальной корсиканской гвардии. Это был первый серьезный

взлет в его карьере, которая позднее удивляла мир на протяжении более чем двадцати лет. «Это назначение, увеличившее его жалование, — писал А. Леви, — давало ему возможность выполнить свое заветное желание оказывать поддержку матери, обремененной многочисленной семьей» [Леви, 2006, с. 24]. Несмотря на почти сразу же последовавшее возвращение Наполеона в свой полк во Францию в прежнем чине лейтенанта (май 1792 года), по причине вспыхнувших кровавых столкновений в Аяччо, скомпрометировавших его, — на континент он вернулся уже совсем другим человеком, получившим значительный опыт.

Достоевский мог вполне знать об этом занимательном сюжете биографии Наполеона из многочисленных книг или устных анекдотов той эпохи. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что начало художественного изображения писателем наполеоновской идеи в его произведениях некоторым образом отразило и начало карьеры самого Бонапарта. И это отнюдь не случайность! Позднее почти во всех произведениях писателя, где выведены герои-наполеонисты, можно отыскать поразительные переклички в их повседневной жизни и судьбе самого Наполеона, которые проявляются через вот такие символические детали-вещи, вроде прохарчинского тюфяка. Как прозорливо отмечал еще Г.А. Мейер: «Вещи, предметы, нас окружающие, принято считать неодушевленными. Но я уже говорил, что в творчестве Достоевского они живут, пронизанные духовными и злодуховными токами, исходящими от людей и невидимых духов. Вещи суть символы: они отражают в своих инобытийственных ликах наши внутренние светлые и темные стремления. Вещи неизменно обличают нас» [Мейер, 1967, с. 171–172].

«Наполеонова память», которую, казалось бы, праздно потревожили жильцы квартиры Устины Федоровны в петербургском рассказе «Господин Прохарчин», не только радикальным образом поменяла наше представление о тайной жизни, которую вел Семен Иванович, но и оказала большое влияние на присутствие наполеоновского мифа в последующих художественных текстах Достоевского.

Наполеоновские войны в «Дядюшкином сне»

Наполеон как создатель Гражданского кодекса, на долгие годы закрепившего юридическое бесправие французских женщин в их отношениях с мужьями, прочно вошел в мировую культуру в образе противника женской самостоятельности и свободомыслия. Он, в частности, утверждал: «За мужем должно быть признано безусловное

право сказать своей жене: вы не будете выходить из дому, вы не пойдете в театр, вы не будете принимать того-то и того-то, ибо дети, которых вы произведете на свет, будут принадлежать мне» [Боботов, 1998, с. 151]. Недаром выдуманный французскими поэтами 1820-х–1830-х годов яркий приверженец бонапартизма, солдат Никола Шовен стал, помимо прочего, еще и символом мужского шовинизма [Пьюимеж, 1999, с. 10–11, 38]. В комической повести Достоевского «Дядюшкин сон», которая напоминает представление народного кукольного театра¹⁵, Достоевским в пародийном ключе были переосмыслены наполеоновские войны, участником которых был его отец.

Автор мордасовской летописи, безымянный хроникер, претендующий на звание «верного историка» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 389], берет за основу своего труда не достоверные исторические события и факты, а всевозможные домыслы, сплетни и слухи, ярко рисующие жизнь провинциального общества в небольшом городе. Необычайная осведомленность летописца в происходящих скандалах, его глубокая погруженность в мельчайшие подробности самых потаенных чувств героинь заставляют предположить, что автор летописи — женщина. В создании собственного образца «женской» прозы Достоевский, очевидно, отталкивался от опыта А.С. Пушкина, в романе которого «Рославлев», посвященного событиям 1812 года, женщина является не только главной героиней, но и повествователем. Пушкин построил свое произведение таким образом, что события наполеоновского нашествия в нем дважды преломляются через женское восприятие, ведь о взглядах Полины мы узнаем из рассказа ее безымянной подруги. Схожая структура применена и в «Дядюшкином сне». Однако если у Пушкина в рассказе о войне с Наполеоном преобладает непосредственная серьезность с элементами юмора, то Достоевский, наоборот, показывает изначально смеховой мир, через который при внимательном прочтении проступают серьезные вещи. Как отмечал писатель в статье «По поводу элегической заметки “Русского вестника”» (1861): «Блажен тот, который и в уродливом явлении способен увидеть его историческую, серьезную сторону! Блажен тот, который не думает, что к нему в рот будут готовые галушки падать! Блажен тот, кто от залезшего, чуть не в трубу, трубочиста не потребует непременно академических поз и красоты Аполлона Бельведерского!» [Достоевский, 1972–1990, т. 19, с. 173].

¹⁵ О роли фигуры Наполеона в представлениях народного уличного театра в России 1830-х – 1860-х годов см: [Подосокорский, 2022b, с. 79, 81].

Летописец «Дядюшкиного сна» с первых страниц представляет главную героиню: «Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие искренно ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 296]. Эти слова перекликаются с высказыванием П.А. Вяземского о Наполеоне в его записной книжке 1830-х годов: «Дело в том, можно ли в наше время управлять с успехом людьми, имевшими некоторую степень образованности, не заслужив доверенности и любви их? Можно, но тогда нужно быть Наполеоном, который как деспотическая кокетка, не требовал, чтобы любили, а хотел влюблять в себя, и имел все, что горячит и задорит людей» [Вяземский, 2003, с. 635].

Далее хроникер как раз и соотносит свою героиню с Наполеоном: «Марью Александровну сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос: отчего, скажите, у Наполеона закружилась наконец голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не *gentilhomme*¹⁶ хорошей породы; а потому, естественно, испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 297]. Таким образом, повествование, представляющее собой «полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 299], начинается с принижения настоящего Наполеона, в сравнении с которым Марья Александровна (Мария — «высокая», «превосходная», «славная», «госпожа» (*евр.*)) должна выглядеть более благородной, успешной и гениальной; ведь у нее «никогда и ни в каком случае не закружится голова и она всегда останется первой дамой в Мордасове» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 297].

Образ главной героини «Дядюшкиного сна» может отсылать к персонажу повести В.И. Даля «Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ его о собственном своем житье-бытье, за первую половину жизни своей» (1843) Анне Мироновне, про которую также сообщалось: «Дом дер-

¹⁶ Дворянин (*франц.*)

жится собственно Анной Мироновной, во всяком смысле; она просит, принимает и угощает гостей, она и сама напрашивается куда следует в гости, она же и добывает все необходимое для наружного блеску в долг, и в счет, и взаймы, и на прокат; говорят даже, что когда она благословляла вторую дочь свою под венец, то довольно богатый образ в золоченом окладе был взят ею в рядах с бою, потому что по доброй воле ей никто в долг не верил. Между тем купцы формально отказать ей в безденежном заборе товаров не смеют: она слишком почетное, слишком известное лицо в городе, нравственное влияние ее слишком велико. **Это Наполеон своего рода** до изгнания его из России с бесчестием, и все *языки* должны ей покорствоваться. А как ее, вероятно, никогда не изгонят с бесчестием из России, то из этого и следует, что **она лучший тактик, стратегик и политик, чем покойный Наполеон.** Одна дочь у нее за генералом или по крайней мере за статским советником» [Даль, 1961, с. 202].

Комическая атмосфера «Дядюшкиного сна» во многом определяется тем, что в повести почти все мужчины низведены до уровня «слабого пола», женщины же властвуют над ними и воюют между собой ради славы и власти над общественным мнением. Милитаризация дамского общества Мордасова несомненна. Фамилия главной героини — Москалева, — очевидно, образована от слова «москаль», которое помимо основного значения: москвич, русский (в данном контексте — несомненное дополнительное указание на амбивалентность ее образа: Наполеон-москвич), — имеет и другое: солдат, военный служащий [Даль, 1863, с. 944]. Одна из наиболее экстравагантных дам в повести Софья Петровна Фарпухина «была помешана на том, что она полковница» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 329]. Про вдову Настасью Петровну Зяблову упомянуто, что «муж ее был военный офицер» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 303], и это примечательно, если учесть, что женщинам в Мордасове вообще свойственно перенимать на себя мужские роли (например, прокурор/прокурорша Антиповы). Наталья Дмитриевна же, «колоссального размера дама» и вовсе «чрезвычайно походила на гренадера» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 369].

В этих мордасовских войнах слухов, сплетен и интриг, безусловно, роль главной скрипки исполняет местный Наполеон — Марья Александровна Москалева. Ее полководческий дар характеризует то, что «эта сановитая дама была первая сплетница в мире или по крайней мере в Мордасове. <...> Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом свою соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 296–297]. Марья Моска-

лева — «это ум, это тактика!» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 296]. Над мордасовским обществом она властвует деспотично, диктаторскими методами. Причем у нее сложился богатый опыт в сражениях со всевозможными антимоскалевскими коалициями, в которые объединялись «смертельные враги ее», а иногда и весь «торжественный хор мордасовских дам». Много занимают владычицу Мордасова бунты и восстания: «Они все восстанут, но... это ничего! я их сама отделаю!» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 333].

Дамское общество Мордасова также представляет из себя некий птичий концерт. Даже Зина, которая «чиста как голубь» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 352] не способна окончательно вырваться из-под влияния стаи. Это про нее говорит Мария Александровна: «...дурное то дитя, которое марает свое гнездо!» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 308]. В Мордасове сложилась определенная «пернатая» иерархия, в которой звания и титулы обозначаются именованиями птиц. Например, полковницу Софью Петровну Фарпухину, эту признанную «зловещую и мстительную сплетницу» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 329], за которую сам «обер-комиссар **Курочкин** сватался» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 374], Москалева называет **сорокой**. Хотя та «только нравственно походила на **сороку**. Физически она скорее походила на **воробья**» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 328]. Сливки мордасовского общества и главные враги Москалевой Анна Николаевна и Наталья Дмитриевна стоят рангом повыше: «Гостьи выпрыгнули на крыльцо и защebetали, как **ласточки**» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 362]. Однако Марья Александровна намеренно принижает их сановитость: «Провалились бы вы! <...> не вам, **сорокам**, перехитрить меня!..» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 362]. Москалева способна победить всех титулованных птиц-противниц: бывали, например, такие случаи, когда «все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, — одним словом, **опустит свои крылышки**. Ничуть не бывало...» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 297]. Главная героиня вполне справедливо заслужила обвинение в посягновении на самый высокий пернатый титул: «...думаете, что и сами теперь сделались **важной птицей**, — герцогиня в кружевах, — тьфу!» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 374].

Помимо вполне обыденного, разговорного значения таких эпитетов (сравнения сплетниц с сороками и т. п.), у подобного «птичьего» элемента в повести есть и куда более глубокий смысл. Достоевский через бытовые ситуации развернул в «Дядюшкином сне» известный античный миф о войне птиц (журавлей) с пигмеями — гераномахию, проходящий через всю мировую литературу от Гомера до Мильтона

и далее. Недаром главная птица Мордасова, Марья Александровна, обращается к своему мужу со словами: «...пигмей ты этакой!» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 358]. Точно так же она вела себя и с другими, «гордым взглядом измеряя пигмеев врагов своих» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 378]. Достоевский интерпретировал этот миф как противоборство двух искажений человеческого духа, понимая под птичьим началом бесплодные устремления ввысь — самовозвеличение и бурную деятельность во имя своё, а под началом пигмейским — столь же разрушительную приземленность — апатию, задавленность повседневностью, неспособность к оригинальности мысли и к активной жизненной позиции.

Однако античный миф о войне птиц и пигмеев приобретает новые формы в свете мифа наполеоновского. Известно, что почитатели Наполеона часто сравнивали его с орлом (отсюда прозвище его сына, Римского короля, в бонапартистских кругах — «Орленок»), поскольку орлы являлись официальным символом Первой империи. Недоброжелатели же на разный лад пародировали это его «птичье» прозвище. Характерным образчиком второго взгляда может служить стихотворение Степана Юшкова «Песня на освобождение царствующего града Москвы октября 11 дня 1812 года» (1812):

Уж как слышно нам: *Бонапарт злодей*
Не одних *скворцов* на Москву пустил,
А привел он с собой и *гусей*, и *грачей*,
И *чижей*, и *синиц*, *воробьев*, *журавлей*,
И *сорок*, и *ворон*, *коришунов* и *сычей*,
Вислоухих сов и *ночных филинов*,
Да и тех дураков — *полевых дудаков*...
Так возможно ли могучим орлам,
Могучим орлам, *орлам северным*,
Таковую *дрянь* на себя пустить?
Слово молвлено — дело сделано.

[Собрание стихотворений, 2015, с. 124].

В стихотворении же «Кривой коршун» (1814) П.Н. Арапова «кривому коршуну» — Наполеону ставилось в вину стремление подчинить себе всех других «птиц»:

Собравшись, налетел на воробьино царство,
Потряс невинных государство;
Из знатных воробьев

Наделал конюхов.
«На деле подданным я показать желаю,
Какое место занимаю!»
Еще он подтвердил,
И брата коршуна на троне посадил.
А новых воробьев набравши
И приказания раздавши,
Пустился хитростью своей
И к галкам — овладел землёй;
Столкнул державного царя
И сделал звонаря.
А там за голубей, за скворцов принялся,
Уж Императором назвался.
Сорок, грачей, синиц, дроздов,
Кукушек, снигирей, ворон и журавлев,
Всех птиц накрыл сетями.
С Орлами,
С Ястребами,
Бойтся — думает: тотчас
Мне выколят последний глаз...
А весть войну с Орлами —
Не с воробьями.

[Арапов, 1814, с. 4].

«Пигмеями» же в литературе наполеоновской легенды часто называли критиков «исполина» Наполеона. Приведем только две соответствующих цитаты, принадлежащих как раз женщинам-литераторам. Так, герцогиня д'Абрантес (1784–1838) пишет в своих мемуарах о хулителях Наполеона: «<...> да и можно ли сохранить умеренность, слыша и читая нелепости? Можно ли это, прислушиваясь к лаю, мяуканью, кваканью и карканью над памятью великого человека, великого столько, что если б эти пигмеи вздумали измерить его высоту взглядом, у них сделалась бы болезнь шеи» [Абрантес, 1835–1839, т. 4, с. 248]. Похожих мыслей придерживалась и поэтесса Е.П. Ростопчина (1812–1858) — ее стихотворение «Поклонникам Наполеона, когда они вздумали перенести его гробницу в Париж» (1840) заканчивается соответствующим образом:

О! что же делать среди вас,
Средь проповедников смятений,
Его великой грозной тени?..

Париж ваш поле мятежей, —
Для баснословного героя
Уж веры нет там у людей!
Не сыщется исполин покоя
Там где шумит толпа Пигмей!..
[Ростопчина, 2019, с. 11].

Преклонение перед гением Марьи Москалевой слагается хроникером из следующих черт ее величественного образа. Ей присущи: «ясность суждения и решимость характера» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 298], гениальность мысли [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 337, 356] и в то же время романтический авантюризм: «...вы женщина-поэт, в полном смысле. У вас непрерывно проекты. Невозможность и вздорность их вас не останавливают» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 321]. Наконец, для полноты образа следует добавить, что Марья Александровна на позднем этапе своего правления в Мордасове «не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом. <...> потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 359].

Необходимо сказать несколько слов об искусстве управления Мордасовым Марьи Александровны. Помимо тщеславия и полководческой самоуверенности, позволяющей ей рассуждать: «Ей ли не одержать победу над какой-нибудь Анной Николаевной Антиповой?» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 337–338], — Москалева имела в своем арсенале немало стратагем. Она прекрасно усвоила золотое правило наполеоновской демагогии: «Все на свете можно сказать благородным образом» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 327]. «Высокая политика» Марьи Александровны, о которой говорил хроникер, сплошь пропитана имморализмом. «Тем-то и отличалась Марья Александровна от своих соперниц, что в решительных случаях не задумывалась даже перед скандалом, принимая за аксиому, что успех все оправдывает» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 338]. Не боялась победительница и высшего общества, так как верила, что «в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу <...>; что это даже в тоне, <...> что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головной боли, которую способна задать им Марья Александровна, всем вместе или поодиночке» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 357]. Особенность ведения военных действий Москалевой состоит в решительном наступлении, предпочтение отдается одному главному удару. Даже в самом отчаянном положении она сохраняет твердость духа и уверенность в победе: нужно только удачно выбрать место

и время, чтобы «одним решительным, смелым ударом завоевать вновь все свое потерянное влияние» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 378]. Все это напоминает полководческую тактику Наполеона Бонапарта, излюбленным приемом которого было решать исход войны одной решающей битвой, а исход сражения — одним смелым и неожиданным маневром.

Падение «диктатуры» Москалевой было вызвано ничем иным, как новой авантюрой, которая должна была расшатать все многолетние устои Мордасова. Хроникер восторженно описывает эти события: «Марью Александровну увлекал ее гений. Она замыслила великий и смелый проект» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 335]. Сам проект состоял в том, чтобы выдать дочь за какого-нибудь владетельного принца, обломка старой аристократии. Однако Москалева имела и куда более дерзкие затеи — такие, что при возможности она бы «пол-Европы перевернула по-своему» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 334]. Здесь проскальзывают отзвуки планов Наполеона, связанных с его женитьбой на представительнице одного из царственных домов Европы.

План новой кампании Марьи Александровны подразумевал атаку на князя К., затем его осаду и последующее взятие сей «крепости» штурмом. «...План этот был составлен вчерне, вообще, en grand <...> Но Марья Александровна была уверена в себе: она волновалась не страхом неудачи — нет! Ей хотелось поскорее начать, поскорее в бой» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 335]. «Ведь хотят же теперь конфисковать князя, так что приходится его возвращать чуть не с бою» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 337]. В восьмой главе хроникер дважды подчеркивает то, как она оглядывала «поле битвы» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 340–341]. Мордасовская летопись позволяет нам увидеть воинственный образ Марьи Москалевой перед её последним сражением: «...наша героиня летела по мордасовским улицам, грозная и вдохновенная, решившись даже **на настоящий бой**, если б только представилась надобность, чтоб овладеть князем обратно. Она еще не знала, как это делается и где она встретит его, но зато она знала на-верно, что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть йота из теперешних ее замыслов» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 337].

Происходящие в «Дядюшкином сне» события составляют сложное сочетание сна и яви, бреда и действительности. Непосредственный Наполеон изображен в повести уже в период своего падения: великий император сидит «на цепи» у англичан, доживая последние дни на острове Святой Елены, — в этом он схож с дядюшкой, который также

в течение **шести лет** перед смертью жил затворником [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 300]. Пародийное представление кукольного театра наполеоновских героев сопровождается музыкой Бетховена, создавшего, как известно, под впечатлением побед Наполеона свою «Героическую симфонию»¹⁷, и развесёлым танцем краковяк певца наполеоновской легенды лорда Байрона¹⁸ на Венском конгрессе, собравшем представителей держав-победительниц наполеоновской империи. Дядюшка, который считал, что он похож на Наполеона [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 365], сдаваться без боя был не намерен. Неожиданно ему на помощь приходит настоящий, подлинный Наполеон, тот самый, который никогда бы не допустил столь *высокого* положения женщин, какое сложилось в Мордасове. В кульминационный момент разыгрывания этой комической модели наполеоновской войны раздаётся весёлый смех истинного Наполеона во сне дядюшки, после чего крушение всех лженаполеонов происходит с умопомрачительной быстротой.

Сам дядюшка крайне мало похож на реального человека. Скорее, его образ является аллегорией, комическим воплощением наполеоновской легенды, состоящей из разнообразных «накладных» элементов, множества воспоминаний, дополненных и домысленных поколениями, жившими после падения исторического Наполеона. Характерно в этом смысле описание дядюшки его «племянником» Мозгляковым: «Ведь это удивительнейший человек, Мария Александровна! <...> Ведь это полуконпозиция, а не человек. <...> **Ведь это только воспоминание о человеке; ведь его забыли похоронить!** Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах!» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 307]. Действительно, дядюшка в повести есть лишь «воспоминание о человеке», и имя этого человека — Наполеон.

Наполеоновский миф, предполагающий обожествление кесаря, признание его власти сакральной, комически раскрывается в образе князя К., который, помимо Наполеона, был также «разительно похож на одного старинного папу» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 365]. Это

¹⁷ «Бетховен, создавая в 1804 году свою “Героическую симфонию”, черпал вдохновение для нарастающей мощи торжествующих звуков в железной поступи легионов Бонапарта. Он видел в них легионы революции. Он разорвал после провозглашения империи посвящение Бонапарту, но симфония была рождена под влиянием его побед» [Манфред, 1998, с. 338].

¹⁸ О влиянии наполеоновского мифа на творчество и жизненную стратегию Байрона см.: [Толмачев, 2018].

химерическое соединение несоединимого может объяснять тот факт, что кучер Феофил («любящий Бога» (*зреч.*)) вывалил князя из кареты по дороге в Светозерскую пустынь, к иеромонаху Мисаилу (т. е. тому, «кто как Бог» (*евр.*)). За этим упоминанием имен: Феофила, Наполеона и Мисаила у Достоевского сокрыта сотериологическая мысль. Как вспоминал современник Наполеона Лафайет: «Bonaparte, более приспособленный к достижению как общественного блага, так и своего личного, мог бы решать судьбы мира и встать во главе рода людского, (тогда был бы он Христос, а не Бонапарт). Но из-за мелочного честолюбия пришлось растратить ему огромные физические и умственные силы на удовлетворение мании гигантской, в географическом смысле, и мелочной, в нравственном смысле» [Вяземский, 2003, с. 662]. И действительно, по логике князя, сначала Феофил («любящий Бога») вывалил князя из кареты на пути к «тому, кто как Бог», а потом было сновидение того, кто «похож на Наполеона». По мысли Достоевского, наполеонизм — это не путь к Мисаилу («тому, кто как Бог»), но падение Феофила («любящего Бога»). Дядюшка также вспоминает: «Сначала я видел кучера Фе-о-фи-ла... Потом был На-по-леон, а потом как будто мы чай пили и какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела...» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 388]. Дама, которая поела сахар — это Наталья Дмитриевна, но если вспомнить, что князь постоянно путает всех дам, то, по всей вероятности, речь, скорее, идет о Марье Александровне, вкусившей сладость наполеоновской славы на уровне города Мордасова.

Сновидения князя и Марьи Александровны вообще оказываются взаимно переплетены: в третьей главе Марья Москалева, признается, что князь снится ей во сне [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 394]; в одиннадцатой же главе князю К. снится Наполеон, с которым изначально в тексте сопоставляется именно Москалева, но с которым впоследствии сравнивается и сам дядюшка. Таким образом, получается, что Наполеон как бы дважды укоренен во сне Москалевой. Эта причудливая ситуация отчасти отражена в странном диалоге князя и Марьи Александровны. Последняя вопрошает:

«— ...Неужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, князь: сплю я или нет?»

— Ну да... а, впрочем, может быть, нет... — отвечал растерявшийся князь. — Я хочу сказать, что **я теперь, кажется, не во сне. Я, видите ли, давеча был во сне, а потому видел сон, что во сне...**» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 382].

Князь К. хочет сказать, что он снится спящей Москалевой, а потому сам видит Наполеона как «сон, что во сне». Вся затея с женитьбой

дядюшки есть не что иное, как попытка выявления наполеоновских амбиций у дочери мордасовской владычицы Москалевой, стремление последней продлить и укрепить свою династию. Сочетание личного властолюбия с легендарной историей реального Наполеона в фантазии Марьи Александровны и составляет такое сложное явление, как наполеонизм. Ведь последний предполагает не только подражание Наполеону, но и стремление самому стать на его место.

Признание дядюшки в том, что он все-таки проснулся, что он уже не во сне, знаменует завершение москалёвских/наполеоновских войн. Сразу же все встает на свои естественные места. Подлинная реальность рушит хитроумные конструкции, возведенные фантазией главной героини. Вскоре умирает дядюшка, а Марья Александровна после своего «Ватерлоо» едет в мордасовское «Фонтенбло» — на подгородную дачу, в свою «летнюю резиденцию» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 358], и там фактически отрекается от мордасовского престола. «Марья Александровна осталась наконец одна, **среди развалин и обломков своей прежней славы.** Увы! Сила, слава, значение — все исчезло в один вечер! Марья Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. **Долгий, многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился**» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 389]. Женская власть в Мордасове сокрушается, а мужчины восстанавливаются в своих правах в лице князя Щепетилова, после приезда которого «все в Мордасове смотрели какими-то виноватыми» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 396]. Таким образом Мордасов пережил смену власти после низвержения местного Наполеона, и хроникер завершил свою летопись.

Зачем Достоевский создал из повести «Дядюшкин сон» комическую гераномахию с наполеоновским подтекстом? Очевидно, что не ради одного смеха, а, скорее, и вовсе не для него. Парадоксальность мировосприятия писателя позволила ему перенести наполеоновскую проблематику в совершенно иную область человеческого бытия. Женщины в его сочинениях, чтобы иметь дело с Бонапартом, не ходят на настоящую войну, как русская кавалерист-девица Н.А. Дурова или французская амазонка Т. Фигёр [Фигёр, 2007]. Наполеоновские войны разворачиваются, прежде всего, внутри них самих и проявляются в борьбе за благосклонность и расположение света, в подковерных схватках за собственный вес в обществе. Мужская испорченность, помноженная на женскую восприимчивость, формирует комическое явление женского наполеонизма, которое весьма убедительно демонстрирует разрушительность войн, идущих внутри человека за мнимые ценности и фальшивые блага.

**Великие законодатели и установители человечества
в «Преступлении и наказании»**

Традиционно, когда речь заходит об идее Родиона Раскольникова о необыкновенных людях, которым разрешается проливать кровь по совести, исследователи называют ее «наполеоновской» и связывают эту теорию с наполеонизмом главного героя, которого, по словам Свидригайлова, «Наполеон ужасно увлек, то есть, собственно, увлекло его то, что очень многие гениальные люди на единичное зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 378]. Как писал В.Я. Кирпотин, «в процессе повествования Раскольников сосредоточивается только на Наполеоне. К образу Наполеона обращается он, чтобы объяснить свою идею Соне и Дуне. Ссылаются на Наполеона и Порфирий и Свидригайлов, чтобы определить свое отношение к Раскольникову. Имя Наполеона звучит колдовством, наваждением, оно излучает чары, оно тянет, оно приковывает к себе, как магнит» [Кирпотин, 1978, с 370–371].

Однако первоначально имя Наполеона появляется в романе лишь в ряду других имен великих людей. Это происходит в самую первую встречу Раскольникова с Порфирием Петровичем, когда последний вынуждает героя разъяснить свою статью «О преступлении», написанную полгода назад. «По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все... ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие

люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, — более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 199–200].

Из шести названных героем имен¹⁹ сперва в качестве примера им указаны великие ученые Нового времени — открыватели физических законов Иоганн Кеплер (1571–1630) и Исаак Ньютон (1642–1727), а уже затем — политические законодатели и установители человечества: древнегреческие вожди Ликург и Солон, арабский пророк VII века Магомет (Мухаммед) и император французов Наполеон I (1769–1821). Такое соседство не было странным для Достоевского, в записных тетрадях (1872–1875) которого, рядом со словами о явлении революций, была сделана характерная помета: «Аксиомы. Кеплеровы законы. Эмиграция дворянства» [Достоевский, 1972–1990, т. 21, с. 270]. Очевидно, что социальные и физические явления соединялись для писателя в истине высшего порядка.

Б.Н. Тихомиров в своем комментарии к роману отмечает, что «с одной стороны, Раскольников стремится обнять мыслью в своей теории

¹⁹ Число «шесть» вообще необычайно значимо для героя: каморка Родиона Романовича имеет «шесть шагов» в длину [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 25]; про старуху-процентщицу, которую он убивает, сказано, что она «лет шестидесяти» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 8]; Дуня Раскольниковы в течение «шести недель» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 29] терпит грубости в доме Свидригайловых, потому что взяла у них жалованье наперед с тем, чтобы отослать «шестьдесят рублей» брату в Петербург [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 28]; младший брат Раскольниковы умер «шести месяцев» от роду [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 46]; в кошмаре героя про лошаденку в телегу Миколки «налезло человек шесть» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 47], а уже оседающую клячу со всех сторон принимают «в шесть кнутов» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 49]; про Раскольниковы также сообщается, что он ходит по улице «шесть часов» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 90] и столько же спит [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 100] и т.п. Кроме того, даже сам роман «Преступление и наказание» поделен автором на шесть частей. Это настойчивое обращение к шестерке в свете наполеоновской легенды (а в Наполеоне многие современники видели воплощение антихриста) может отсылать к «Откровению Иоанна Богослова», где это число связано с антихристом: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Отк. 13:18).

всю всемирную историю человечества — древний мир и современность, восток и запад, претендуя на открытие универсального закона исторического прогресса; с другой стороны — его мысль базируется на фактах *внехристианской истории*» [Тихомиров, 2016, с. 290]. К этому замечанию Тихомирова можно сделать две существенных поправки: во-первых, всемирная история по Раскольникову странным образом исключает из себя историю российскую. В ряду имен великих законодателей и установителей человечества, на котором останавливается герой, слишком заметно отсутствие не только Владимира Святого или Ярослава Мудрого, но, в первую очередь, Петра Великого, переустановившего всю российскую государственность в начале XVIII века. «Как Спарта без Ликурга, так Россия без Петра не могла бы прославиться», — констатировал еще Н.М. Карамзин [Карамзин, 1984, с. 254]. Одним из первых на странное игнорирование Раскольниковым фигуры Петра Великого в разговоре о великих законодателях и преступниках обратил внимание проницательный Д.С. Мережковский: «Любопытно, что в перечне этом нет Петра, а кого бы, кажется, и помянуть Раскольникову, “совершенно петербургскому”, петровскому типу, как не Петра?» [Мережковский, 2000, с. 263]. Можно предположить, что в данном случае писатель не стал касаться имен российских государей (Ивана Грозного, Петра Великого и др.) по цензурным соображениям, хотя вообще к фигуре Петра он обращался в своих произведениях многократно. По каким-то причинам нет в этом довольно усеченном ряду и имен других великих законодателей человечества: Моисея, Нумы Помпилия, Конфуция, Цезаря, Октавиана Августа, Юстиниана, Карла Великого и др.

Нельзя сказать и что все названные Раскольниковым имена относятся к сугубо внехристианской истории. Древние эллинские мудрецы, к числу которых принадлежит Солон, и в конце XVIII века считались образцовыми установителями праведных и свободных законов. А.Н. Радищев в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790), сетуя об уничтожении Новгородской республики, взывал к именам Ликурга и Солона: «Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? — В книгах. — А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия» [Радищев, 1988, с. 62]. Более того, уже в Средние века они были успешно интегрированы в православное сакральное пространство, став его произвольными адептами²⁰.

²⁰ В качестве примеров такого включения античных мудрецов можно назвать их изображения в храме св. Николая в городке Янина,

Иначе говоря, история может разделяться на христианскую и внехристианскую не строго по хронологии и формальной принадлежности к той или иной конкретной культуре, но по взгляду на нее человека, исходя из его верований, причем для многих верующих совершенно естественно смотреть на все мировое культурное наследие, как на пронизанное их религией до самой глубины. Сложность в отношении крупной исторической фигуры только к христианской или, наоборот, к внехристианской истории особенно хорошо заметна на примере Наполеона, который, с одной стороны, заслужил в российской церковной пропаганде славу антихриста, но, с другой стороны, был крещен в католической вере еще в младенчестве, венчался в церкви, короновался римским папой, а незадолго до смерти на острове Святой Елены исповедовался и причастился Христовых Таин. Более того, именно Наполеон, придя к власти, вновь открыл христианские церкви во Франции, закрытые с началом революции, что вызвало большое сопротивление среди его ближайшего окружения.

В брошюре «Религиозные суждения Наполеона о божественности Иисуса Христа. Неопубликованные мнения, собранные на Святой Елене графом Монтолоном и изданные кавалером Ботерном», опубликованной в Париже в 1841 году, Наполеону приписывается следующее изречение относительно законов и религии: «Магометанство, обряды Нумы, постановления Ликурга, политеизм, а также законы Моисея есть в большей степени творения законодательства, чем религии. В самом деле, каждый из этих культов относится более к земле, чем к небу. И потому, главным образом, связан с народом и интересами нации.

расположенном на одноимённом островке в греческом Эпире (1559–1560), в храме Девы-Вратарницы Иверского монастыря на Афоне (1683), в трапезной афонской лавры св. Афанасия (1512) и проч., «где изображён целый ряд древнегреческих философов (Филон, Солон, Пифагор, Сократ, Гомер, Платон, Аристотель и другие)» [Дорофеев, 2020, с. 85]. Подобные примеры характерны и для Русской православной церкви. С 31 марта по 4 июня 2023 года в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходила выставка «Эллинские мудрецы», на которой, в частности, были представлены изображения афинского законодателя Солона и языческого бога Зевса (а «Зевесом» саркастически называет себя в «Преступлении и наказании» сам Раскольников [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 38]), созданные в первой четверти XVIII века для церкви Сельца-Карельского Удомельского района Тверской области. Солон был изображен в этой церкви с текстом пророчества о пришествии Христа, аналогично библейским пророкам.

И не очевидно ли, что истинная религия не может быть ограничена одной страной? Истина должна охватывать весь мир. Таково христианство — единственная религия, провозглашающая единство и абсолютное братство рода человеческого, единственная чисто духовная и, наконец, единственная которая определяет всем без различия в качестве истинного отечества лоно Бога-создателя» [Беседы императора, 2001, с. 132–133].

Таким образом определения «внехристианский» и «всемирный» для описания общности имен законодателей, представленных в романе Достоевского, не вполне точны, поскольку имеют слишком заметные изъяны и требуют необходимых оговорок. Более того, сам ряд имен, сконструированный Раскольниковым, по-своему уникален. Внешне он может напоминать другие похожие литературные и исторические перечисления, но никогда в точности не повторяет их. Например, в сочинении Ф. Бэкона «Опыты, или Наставления нравственные и политические» (1597) представлен ряд великих законодателей, которые «и после смерти управляют через посредство своих законов»: Ликург, Солон, Юстиниан, Эдгар (англо-саксонский король X века), Альфонсо Кастильский, прозванный Мудрым [Бэкон, 1962, с. 137]. У Бэкона собственно *законодатели* названы также «вторыми основателями», которых он отделяет от «первых», т.е. от основателей государств, вроде Ромула, Кира²¹, Цезаря, Османа и Исмаила [Бэкон, 1962, с. 37]. Очень похожий на раскольниковский список законодателей использовал в своем романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759–1767) английский писатель Л. Стерн: «<...> в рыбных прудах, сэр, есть нечто — а что именно, предоставляю открыть строителям систем и очистителям прудов сообща, — во всяком случае, когда вы охвачены первым бурным порывом раздражения, есть нечто столь неизъяснимо успокоительное в размеренной и чинной прогулке к одному из таких прудов, что я часто дивился, почему ни Пифагор, ни Платон, ни Солон, ни Ликург, ни Магомет и вообще никто из ваших прославленных законодателей не оставил на этот счет никаких предписаний» [Стерн, 1968, с. 262]. В списке Стерна, по понятным причинам, нет Наполеона (он еще не родился) и есть «лишние» Пифагор и Платон, а в остальном он повторяет ряд имен, выбранных героем «Преступления и наказания».

²¹ Кир Персидский упоминается в «Преступлении и наказании» в связи с тем, что знакомством с ним, по словам Мармеладова, завершилось все «образование» его дочери Сони в сфере истории [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 16]. О значении Кира Персидского для сюжета романа см.: [Касаткина, 2023а].

В еще одном перечне, содержащемся в письме Люсьена Шардона де Рюампре, героя романа О. де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок» (1838–1847), также создавшего теорию о двух видах людей: «потомстве Авеля» и «потомстве Каина», которых можно соотнести с «обыкновенными» и «необыкновенными» людьми из статьи Раскольникова, присутствуют имена Магомета и Наполеона, но отсутствуют — Ликурга и Солона. Кроме перечисленного выше, стоит упомянуть и цикл лекций английского историка Т. Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1840), с которыми Достоевский был, вероятно, знаком. Однако в ряду героев, предложенном Карлейлем, находятся, помимо Магомета и Наполеона, также Данте, Шекспир, Кромвель и др.

Попробуем разобраться в том, что объединяет упомянутые Раскольниковым конкретные имена, отказавшись от искушения объяснить их случайным соседством, произвольно сформированным в сознании недоучившегося студента, или простым типологическим сходством с другими перечнями, представленными в произведениях вроде перечисленных выше.

Если из пары ученых-законодателей «Кеплер — Ньютон» Раскольников сразу же смещает центр внимания на последнего (Кеплер упоминается им единожды, а Ньютон — трижды), то из четверки «Ликург — Солон — Магомет — Наполеон» поначалу выпадает Солон (его имя больше не упоминается), а затем — Ликург и Магомет (их имена упоминаются еще лишь один раз), отдавая абсолютную пальму первенства Наполеону (всего это имя непосредственно упоминается в тексте романа тринадцать раз!). Фигуры Ньютона и Наполеона были особенно близки Раскольникову, прежде всего, тем, что они оба «сделали себя сами» (в отличие от законодателей-правителей, к которым власть и слава пришли уже по праву их происхождения). К середине 1860-х годов, когда происходит действие «Преступления и наказания», в России так и не появились ни национальный Наполеон (так как декабристский мятеж 1825 года был подавлен), ни свой Ньютон (об этом, в частности, Достоевский писал в записных тетрадах: «Укажут на Ломоносова, а разве Ломоносов не мертворожденное дитя? Что, утвердилась ли наука в России после него? Где Платоны и быстрые разумом Невтоны?» [Достоевский, 1972–1990, т. 21, с. 269]), и статью кем-то из них мечтали многие честолюбивые студенты и молодые офицеры (о явлении петербургского наполеонизма тех лет см.: [Подосокорский, 2022b, с. 81–82]).

Сам Наполеон также чрезвычайно интересовался фигурой Ньютона. Немецкий философ Ф.В.Й. Шеллинг (1775–1854) в своей «Философии мифологии» (1856) со ссылкой на сопровождавших Бонапарта

в его Египетском походе естествоиспытателей (среди которых им назван Жоффруа Сент-Илер) приводит такое неожиданное признание главнокомандующего французской армией: «Ну вот, я также стою во главе войска на пути в Индию, как и Александр, однако мне столь же приличествовал бы и иной путь к славе. Когда же его сопровождающие спросили его, какой именно, он ответил: Ньютон!» [Шеллинг, 2013, т. 1, с. 335]. Уже на острове Святой Елены Наполеон объяснял даже свою веру в Бога, в том числе, тем, что верующими были такие авторитетные ученые, как Ньютон: «Мы, строго говоря, верим в существование Бога, поскольку всё вокруг нас свидетельствует о нём, и наиболее просвещённые умы верят в Бога: не только Боссюэ, избравший своей профессией веру в Бога, но и Ньютон и Лейбниц, которые занимались совсем другим» [Лас-Каз, 2010, с. 134].

Раскольников, как последователя Наполеона, в Ньютоне могла привлекать и абсолютная вера ученого в могущество ума. Как писал Н.А. Любимов в очерке «Ньютон. Характеристика» (1856): «Когда спрашивали Ньютона, каким путем достиг он великих открытий, которые кажутся превышающими силы ума человеческого, то он отвечал, “я все думал об этом”, и потом прибавил подробнее: “я носил исследуемый предмет постоянно в уме, обращал его с различных сторон, пока наконец удавалось найти нить, которая приводила меня к ясному представлению”. Отвлеченная работа мысли поглощала все существо Ньютона. Его жизнь была последовательно сменой ученых размышлений, его развлечения состояли в переходе от занятий трудных к другим более легким. Предаваясь работе мысли, он забывал и сон и пищу; часто утром заставали его сидящим пред рабочим столом в том же положении, в каком оставили вечером: погруженный в занятия, он и не замечал, как летели часы» [Русский вестник, 1856, с. 211]. Герой «Преступления и наказания» так же, как Ньютон и Наполеон, ценит в человеке, прежде всего, ум [Подосокорский, 2022b, с. 96–99], и обычно глубоко погружен в собственные мысли, что вызывает порой насмешки окружающих. Показателен в этом смысле его диалог со служанкой Настасьей:

«— Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, **умник**, лежишь как мешок, ничего от тебя не видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?

- Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.
- Что делаешь?
- Работу...
- Каку работу?
- **Думаю**, — серьезно отвечал он помолчав.

Настасья так и покатила со смеху. Она была из смешливых и, когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.

— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 26–27].

Кроме того, и к Ньютону, и к Наполеону **успех пришел примерно в том же возрасте, в котором Раскольников совершает свое преступление** (герою Достоевского на момент убийства старухи двадцать три года [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 396]). Как пишет биограф Ньютона М. Уайт: «Год между летом 1665 года и летом 1666 года [Ньютону исполнилось двадцать три года как раз в декабре 1765 года — *Н.П.*] с полным основанием называется annus mirabilis, годом чудес для Ньютона. В этот удивительный период он заложил математическую основу своей теории тяготения и сформулировал три закона движения, ставшие фундаментом новой научной дисциплины — механики. Он также развил свои идеи в области оптических явлений, начал создавать свои первые телескопы и разработал дифференциальное и интегральное исчисления и еще один важный математический инструмент — биномиальную формулу, или бином Ньютона» [Уайт, 2022, с. 14]. Его дополняет П. Акройд: в этот период Ньютон «стоял на пороге великой революции в человеческом мышлении, которую позже назовут его именем. Ему постепенно начали приоткрываться тайны света и гравитации. Как сам он мимоходом заметил, “в те дни я был в расцвете изобретательского возраста и уделял математике и философии больше умственного внимания, нежели когда-либо после”» [Акройд, 2017, с. 37].

Наполеон же в возрасте Раскольникова был всего-навсего младшим офицером без внятных перспектив, нуждающимся в самом необходимом. Как и Раскольникову²², ему пришлось в 23 года даже заложить свои часы (это произошло в Париже в 1792 году), чтобы рассчитаться с набранными ранее долгами [Леви, 2006, с. 24]. Однако уже через год, в возрасте двадцати четырех лет, он отличился при взятии Тулона и в одночасье стал бригадным генералом. Мы не знаем, приходила ли ему в минуты отчаяния в голову мысль убить своего кредитора, но Раскольников полагал, что если бы такая мысль ему все же пришла, то он бы ее реализовал со свойственной ему наполеоновской расчетливостью: «Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было

²² Раскольников в романе закладывает свои серебряные часы, доставшиеся ему от отца, старухе Алене Ивановне, когда идет дедать «пробу» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 9].

бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы оттого, что это уж слишком не монументально и... и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом “вопросе” я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально... и даже не понял бы он совсем: чего тут коробиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости!.. Ну и я... вышел из задумчивости... задушил... по примеру авторитета... И это точь-в-точь так и было! Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было...» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 319].

Уже в первую свою крупную военную кампанию в Италии, отличавшуюся грандиозным грабежом захваченных территорий, 28-летний генерал Бонапарт обратился к своим солдатам с характерным воззванием, в котором просматриваются и автобиографические нотки: «Офицеры! Солдаты! Вот уже два года я командую вами. Было время, когда вы находились на побережье Генуи, влачили жалкое существование. У вас ничего не было, **и вам приходилось, чтобы выжить, все продавать — даже свои часы.** Я пообещал вам покончить с нищетой и повел вас в Италию. Там вы получили все, что только могли пожелать» [Троицкий, 2020, с. 222].

На первый взгляд, в изложении Раскольниковым своей теории присутствуют как бы два ряда имен: малый ряд законодателей и установителей человечества (Ликург, Солон, Магомет, Наполеон) и большой ряд «необыкновенных» или «великих» людей в целом, в который, помимо названных законодателей, также входят и ученые вроде Кеплера и Ньютона. Казалось бы, правители дают человечеству политические законы, а ученые — открывают законы физические, но и те, и другие одинаково отвергают старые законы, которые за давностью лет могли считаться священными. На самом деле все было сложнее. Обратимся к тексту предисловия к «Истории Юлия Цезаря», написанной французским императором Наполеоном III (русский перевод этого труда вышел в 1865 году и, по мнению ряда исследователей, именно он имеется в виду под книгой, ответом на которую стала статья Раскольникова [Тихомиров, 2016, с. 287]). Наполеон III, рассуждая о великих людях,

ставит задачу «отыскать жизненный элемент, который составлял силу учреждения, и преобладающую идею, заставляющую человека действовать» [Наполеон III, 1865, с. III]. Главная же цель его труда — «доказать, что Провидение возводит таких людей, как Цезарь, Карл Великий, Наполеон, для того, чтобы проложить народам путь, которому они должны следовать, запечатлеть их гением новую эру, и в несколько годов завершить работу многих столетий» [Наполеон III, 1865, с. VI]. То есть Наполеон III указывает на метафизическую надстройку в виде Бога и гения, без которой великие люди просто не могут состояться.

Все легендарные исторические фигуры, упомянутые Раскольниковым как представители разряда людей необыкновенных, обладали таким свойством. Ликург был обожествлен [Панченко, 2020, с. 675–676]²³ и начал свои реформы только после одобрения дельфийского оракула [Печатнова, 2020, с. 56]. Согласно Плутарху, Ликург объявил Аполлона Пифийского «началом и источником своих преобразований» [Плутарх, 1994, с. 52]. Солон, причисляемый к сонму семи мудрецов, также вводил новые законы лишь после получения божественной санкции²⁴. Это было общеизвестно с древности и принималось в расчет лидерами Великой французской революции в преднаполеоновскую эпоху. Поэт и историк А. де Ламартин в своей «Истории жирондистов» (1847) приводит соответствующие слова М. Робеспьера, сказанные им в защиту культа Верховного Существа: «Мысль о Верховном Существом и о бессмертии души — непрерывное воззвание к справедливости; эта мысль в одно и то же время социальная и республиканская! (Аплодисменты.) Мне неизвестно, чтобы какой бы то ни было законодатель решился когда-либо национализировать атеизм. Я знаю, что мудрейшие из них по-

²³ Немецкий историк Эдуард Мейер (1855–1930) восклицал: «Кто же этот Ликург? Единственное, что мы надежно о нем знаем, это то, что он был богом, который высоко почитался в Спарте, имел свой храм и ежегодный праздник жертвоприношений» [Печатнова, 2020, с. 37].

²⁴ Как пишет историк И.Е. Суриков: «Можно практически с полной уверенностью утверждать, что Дельфийское святилище в 594 г. до н.э., то есть, очевидно, уже сразу после окончания одной-двух летних кампаний первой Священной войны, поддержало законодательную и реформаторскую деятельность Солона. Тот не оставался в долгу и старался предпринимать ответные дружественные шаги. Так, по предположению ряда авторитетных исследователей, именно при Солоне в Афинах была учреждена коллегия экзегетов-пифохрестов, назначавшихся с санкции Дельфийского оракула и призванных толковать его прорицания» [Суриков, 2022а, с. 28].

зволюли себе даже примешивать к истине вымысел, чтобы действовать на воображение невежественных масс народа или усилить их привязанность к существующим учреждениям. Ликург и Солон прибегали к авторитету оракулов, и даже сам Сократ, желая заставить своих сограждан уверовать в истину, счел себя обязанным уверять их, что она была внушена ему божеством домашнего очага» [Ламартин, 2013, с. 413]. Пророк Магомет, по мнению его последователей, также создал новую религию после божественного откровения [Ибн Хишам, 2007, с. 93–94]. Наконец Наполеон много раз говорил, что его ведет некая могущественная сила, делающая его неуязвимым и сверхудачливым. Обычно эту силу называют Гением, Звездой или Судьбой.

Поразительно, но в теории Раскольникова напрочь отсутствует этот важнейший элемент, побуждающий великих людей действовать. С точки зрения героя, речь идет не о божественной санкции, а о законе природы, который почти математически предопределяет отнесенность человека к тому или иному разряду. Хотя и здесь Раскольников сам себе противоречит. Он признается Соне: «Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... Ну, понятно теперь?» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 318]. То есть он хотел не раскрыть в себе изначально заложенный потенциал нового небывалого законодателя, но самовольно сделаться еще одним Наполеоном, как бы в обход закона природы, причем в его случае убийство старухи было совершено вовсе не ради благодеяний и спасения общества. Он говорит в другом месте: «Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? — так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон... Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, всё равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое... Я это всё теперь знаю... Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право* имею...» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 321–322].

Таким образом, изначально создав теорию о двух разрядах людей, Раскольников вовсе не останавливается на ней, идя дальше и деля людскую массу уже на разные типы *членистоногих* (в его лексиконе противопоставление «паук — вошь» заменяет прежнее «необыкновенные люди — обыкновенные люди»). В этом смысле важно обратить внимание, что характерным свойством всех необыкновенных людей, с точки зрения героя, является наличие «дара или таланта сказать в среде своей новое слово». Как будет показано далее, новый закон вовсе необязательно должен был противоречить старому, точно так же, как и Новый Завет был дан Христом вовсе не для отмены Ветхого Завета, но для его исполнения. В самом начале «Преступления и наказания» герой говорит о том, что люди больше всего боятся нового шага и нового собственного слова, причем «новый» и «собственный» в его восприятии являются синонимами.

Все упомянутые Раскольниковым законодатели в главном не просто учреждали новые законы, но восстанавливали старые порядки так, как их понимали: Ликург взял за образец для Спарты более древние дорийские законы Крита [Шлоссер, 1868–1877, т. 1, с. 137–138]. Солон отменил многие жестокие законы тирана Драконта, за исключением наказания за убийство, и ликвидировал долговое рабство, также пытаясь вернуть сограждан к более древним и справедливым обычаям²⁵. «<...> многие законы Солона отразили не его собственные нововведения, а положения обычного права, архаичные традиционные нормы. В этом смысле вполне правомерно указание ряда исследователей на то, что выражение “законы Солона” обозначало фактически то же, что “законы Афин”, *Corpus iurus Atheniensium*» [Суриков, 2022b, с. 85].

Магомет через создание ислама вернул народы Аравийского полуострова к позабытому единобожию. Как пишет В. Ирвинг: «Все его знания, все размышления, приводили его к твердому убеждению, что единая правая вера открыта была Адаму при создании, что она плодилась и процветала во дни невинности; и что эта вера проповедовала прямое, духовное поклонение истинному, единому Богу, Творцу вселенной. Он убежден был, что эта высокая и простая вера не раз бывала повреждена и унижена человеком, и особенно обезображена в идолопоклонстве; а потому пророки, вдохновенные божественным откровением, посылались один за другим через долгие промежутки вре-

²⁵ Симптоматично, что при этом Раскольников (одновременно и должник, и убийца) называет «преступником» Солона, освободившего должников, но решившего не отменять смертную казнь для убийц.

мени, чтобы восстановить ее первобытную чистоту. Таковы были Ной, Авраам, Моисей; и таков, по его мнению, был Христос. Каждый из пророков восстанавливал на земле истинную веру, но их последователи снова ее искажали» [Ирвинг, 1857, с. 35–36].

Наполеон выступил в роли завершителя революции, восстановителя абсолютной монархии и христианской веры. Наконец Кеплер и Ньютон очистили науку от суеверий и открыли истинные физические законы, о которых частично было известно человечеству в древности.

Все эти законодатели являлись выразителями и проводниками чего-то высшего, о чем свидетельствовали сами. Раскольников же не только полностью игнорирует любую метафизику, но и прямо свидетельствует о своем конфликте с судьбой. Судьба для него не то, что определяет великий путь, помогает, ведет и дает силу, как в случае Наполеона, но то, что противостоит самой жизни, низводит героя в ничтожество: «Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг в исступлении, — послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе всё, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 39].

Очевидно, что новый закон Раскольникова, прежде всего, противостоит закону Божьему, ибо сводится только к ощущению власти ради власти, хотя власть без ответственности и служения людям — лишь тирания и произвол. Письмо матери недаром заканчивается словами: «Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие?» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 34]. Это *новейшее безверие* героя выражается в игнорировании им любых старых законов, сковывающих его волю. Характерно, что даже на требование заплатить наделанные им долги, предъявленное ему в полицейской конторе, Раскольников (про которого в самом начале романа сообщается, что «он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 5]) отвечает: «Да я... никому не должен!» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 77].

После первоначального перечисления Раскольниковым шести великих законодателей в пятой главе третьей части романа (первая встреча с Порфирием) в дальнейшем тексте будут снова упомянуты лишь трое из них (Ликург, Магомет и Наполеон), что уже подчеркивает их особенную важность для истории главного героя. Язвительный Порфирий Петрович иронизирует над теорией о великих людях, которым разрешается совершать преступления: «Ну как иной какой-нибудь муж, али юноша, вообразит, что он Ликург али Магомет... — будущий, разумеется, — да и давай устранять к тому все препятствия...

Предстоит, дескать, далекий поход, а в поход деньги нужны... ну и начнет добывать себе для похода... знаете?» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 203]. Соль шутки Порфирия состоит еще и в том, что, с одной стороны, Ликург был известен тем, что «отобрал имение у всех своих сограждан и разделил оное между ними на ровные части» [Кайданов, 1817, с. 45], а примерно так и рассуждает Раскольников, когда решается «перераспределить» имущество старухи. С другой стороны, Ликург убрал из употребления среди спартанцев золото и серебро (т.е. удобные для обмена наличные деньги), считая их «главной причиной всех пороков» [Шиллер, 1957, с. 413], [Золотые стихи Пифагора, 2017, с. 203]; тогда как Раскольников, начиная с идеи облагодетельствования человечества, заканчивает банальным убийством и грабежом.

При этом упомянутые Раскольниковым законодатели и установители человечества не существуют для него изолированно друг от друга, но как бы соединяются все вместе в завершающем перечне мифологическом имени Наполеона, вбирающем их все в себя и освещающем их собственным светом. Нам уже доводилось подробно писать о присутствии в романе историко-культурного сращения «Наполеон–Магомет» [Подосокорский, 2022а, с. 92–114], проходящем через многие литературные и мемуарные произведения первой половины XIX века, но это же, в той или иной степени, касается и наложения наполеоновского мифа на другие легендарные имена, и, прежде всего, на имя реформатора Спарты Ликурга, время активной деятельности которого И. Ньютон в своей «Хронологии древних царств» (1728) относил к самому концу VIII в. до н.э. [Ньютон, 2007, с. 71]. Еще когда Наполеон был первым консулом Французской республики, публицисты охотно сравнивали его с Ликургом и Солоном. Н.М. Карамзин, в частности, писал во «Взоре на прошедший [1802] год», опубликованном в журнале «Вестник Европы»: «Если же мы, престав на минуту быть эхом иностранных крикунов, называемых журналистами, должны объявить собственное мнение о консуле, то скажем, что он, умертвив чудовище Революции, заслужил вечную благодарность Франции и даже Европы. В сем отношении будем всегда с удовольствием хвалить его, как великого медика, излечившего головы от опасного кружения. Пожалеем, если он не имеет законодательной мудрости Солона и чистой добродетели Ликурга, который, образовав Спарту, сам себя навеки изгнал из отечества!.. Вот дело героическое, перед которым все Лоди и Маренго исчезают! Через 2700 лет оно еще восплаяет ум, и добрый юноша, читая Ликургову жизнь, плачет от восторга... Видно, что быть искусным генералом и хитрым политиком гораздо легче, нежели великим, то есть героически-добродетельным человеком» [Вестник Европы, 1803, с. 79].

Даже когда Наполеон стал императором, такого рода сравнения не исчезли. Например, президент Сената Франции Н.-Л. Франсуа де Нёшато в своей речи в декабре 1804 года говорил, обращаясь к Наполеону: «Если бы правление республиканское полезнее было для Франции, мы не сомневаемся, что вы взяли бы на себя труд дать нам оное; тогда мы предложили бы вам совершить сие великое дело, будучи уверены в том, что вы собственными выгодами пожертвовали бы пользе общественной. Мы знаем, что вы, подобно Ликургу, охотно согласились бы на добровольное изгнание себя из отечества, которое получило от вас мудрые законы» [Вестник Европы, 1805, с. 318–319].

О переходе от республиканского генерала Бонапарта к императору Наполеону как о цивилизационной смене Спарты Римом писал в самом начале своего сборника стихов «Осенние листья» (1831) Виктор Гюго: «Ce siècle avait deux ans! Rome remplaçait Sparte, / Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte...» [Hugo, 1831, p. 1].

За полгода до смерти, в «Дневнике писателя» за 1880 год Достоевский попытался сжато описать совсем иную, чем у Раскольникова, систему взаимоотношений великих людей с теми, кто обслуживают их творческую деятельность. Для героя «Преступление и наказания» велик тот *необыкновенный* человек, который возвышается над толпой и может (должен) при этом использовать ее как материал для достижения своих личных, амбициозных целей: «Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон... Закон, Соня! Это так!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 321].

Для самого же писателя подлинное величие любого христианина заключалось в служении своему ближнему, но поскольку все люди разные по своим талантам, то и служение это может быть разного рода: «Слуги и господа будут, но господа уже будут не господами, а слуги не рабами. Представьте, что в будущем обществе есть Кеплер, Кант и Шекспир: они работают великую работу для всех, и все сознают и чтут их. Но некогда Шекспиру отрывать от работы, убирать около себя, вычищать комнату, выносить ненужное. И поверьте, непременно придет к нему служить другой гражданин, сам пожелает, своей волей придет и будет выносить у Шекспира ненужное. Что ж он будет уни-

жен, раб? Отнюдь нет. Он знает, что Шекспир полезнее его бесконечно: “Честь тебе и слава — скажет он ему — и я рад послужить тебе; хоть каплей и я послужу тем на общую пользу, ибо сохраню тебе часы для великого твоего дела, но я не раб. Именно сознавшись в том, что ты, Шекспир, выше меня своим гением, и придя к тебе служить, я именно этим сознанием моим и доказал, что по нравственному достоинству человеческому я не ниже тебя нисколько и, как человек тебе равен”. Да он и не скажет этого тогда, уже по тому одному, что и вопросов таких тогда не возникнет вовсе, да и немыслимы они будут. Ибо все будут воистину новые люди, Христовы дети, а прежнее животное будет побеждено» [Достоевский, 1972–1990, т. 26, с. 163–164].

Наполеон-Мышкин в «Идиоте»

Как справедливо пишет Е.Г. Местергази: «Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что разгадать загадку князя Мышкина значит подобрать ключ и ко всему роману [“Идиот”]» [Местергази, 1999, с. 70]. Однако подобрать один универсальный ключ к разгадке князя Мышкина, кажется, ещё никому не удалось, поскольку этот образ имеет множество сторон или «замкóв», и едва ли не наиболее протестичен из всех героев Достоевского. Уже многократно отмечалось, что образ Мышкина восходит к целому ряду других сложнейших исторических и литературных образов: Христу [Галкин, 2001], Магомету [Алексеев, 2017], Дон Кихоту [Степанян, 2013, с. 127–172]²⁶, рыцарю бедному [Касаткина, 1999], мистери Пиквику [Тихомиров, 1999], Обломову [Бланк, 2001], [Пономарева, 2018], Мышкину — строителю храма Успения Богородицы в Москве XV века [Касаткина, 2004, с. 383–389]

²⁶ О присутствии «Дон Кихота» Сервантеса в романе «Идиот» и в судьбе князя Мышкина см. также: [Пискунова, 2007], [Корбелла, 2024]. Последняя приводит в своей статье важную цитату из «Дон Кихота», касающуюся восприятия Сервантесом истории как *священной науки* (это исключительно важно и для понимания роли *истории* в романе «Идиот»): «<...> для сочинения историй и книг, какого бы то ни было рода, нужны великая пронизательность и зрелое понимание. Произносить остроумные шутки и писать с юмором — удел выдающихся дарований. Самая искусная фигура в пьесе — фигура шута, так как тот, кто желает казаться простаком, не должен им быть. История — священная вещь, потому что она должна быть истинна, а где истина, там и Бог, поскольку Он — истина <...>» [Корбелла, 2024, с. 32].

и др. В.П. Океанский увидел в нем «мистика-суфия» [Океанский, 1999, с. 184], а Г.С. Померанц воплощение «русского дзен» [Померанц, 1990, с. 290] и т. д.

В последние десятилетия в достоевистике продолжались споры о христианстве главного героя романа «Идиот». Образ князя Мышкина довольно длительное время трактовался как более или менее удачная попытка писателя изобразить «вполне прекрасного человека» [Достоевский, 1972–1990, т. 28, с. 241], «князя Христа» [Свиетельский, 2000], [Арсентьева, 2005]. Исследователи, опираясь на трехкратную запись Достоевского в черновиках к роману: «князь Христос» [Достоевский, 1972–1990, т. 9, с. 246, 249, 253], видели в этих словах лейтмотив произведения. При этом в исследованиях, посвященных проблеме хриstopодобия князя Мышкина, долгое время никак не учитывалась тема его же наполеонизма, которая органично соединяется с нравственно-религиозным пафосом философских рассуждений князя.

Некоторые исследователи вообще склонны считать «оппозицию» христианства и наполеонизма «главной идеей и романтизма, и реализма русской литературы XIX века» [Канунова, 1998, с. 181]. Действительно, проблема сравнения Христа и Наполеона или в более широком смысле «Богочеловека» и «человекобога» явно или скрыто проходит через всё творчество Ф.М. Достоевского. Нельзя согласиться с В.Я. Кирпотиным, полагавшим, что «Наполеон, насильно, посохом железным вгоняющий людей в золотой век, — это уже не Наполеон, это оригинальное измышление Раскольникова, только ему одному принадлежащая идея — синтез Наполеона и Мессии» [Кирпотин, 1978, с. 124]²⁷. Наоборот, этот синтез отобразился не только в образе Раскольникова, но и в образе князя Мышкина.

Лев Мышкин является одновременно и Христом, и Наполеоном романного мира, но для Христа он слишком погружен в собственный наполеонизм (подразумевающий у него и мощное демоническое начало), а для Наполеона — слишком эмоционален и миролюбив. Изначально образ главного героя романа «Идиот» формировался как своеобразный вариант Раскольникова [Одинокоев, 1981, с. 99], и, хотя позднее писатель полностью переосмыслил этот образ, он также прочно связал нового героя с наполеоновским мифом. Собственное признание князя в его наполеонизме содержится в беседе с Аглаей Епанчиной в день своего рождения. Отвечая на её вопрос: «<...> вы-то об чём ещё

²⁷ Об образе Наполеона-Мессии в романе «Преступление и наказание» см. нашу специальную работу [Подосокорский 2022a].

думаете про себя, когда один мечтаете? Может, фельдмаршалом себя воображаете и что Наполеона разбили?», — Мышкин, смеясь, признается: «Ну вот честное слово, я об этом думаю, особенно когда засыпаю, <...> только я не Наполеона, а всё австрийцев разбиваю» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 354]. Таким образом, Наполеоном, как великим полководцем, Мышкин сознает себя в своих снах, что отсылает нас к наполеоновской теме «Дядюшкиного сна», где после пробуждения другой князь, которого окружающие также неоднократно называют «идиотом» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 385, 389], начал претендовать на свое сходство с Наполеоном.

Два князя-«идиота» (князь К. и князь Мышкин), как два героя-наполеониста, имели особое значение для Достоевского. Так, по поводу слов Мышкина о том, что он во сне разбивает австрийцев, А.Г. Достоевская писала, что «Фёдор Михайлович имел часто тревожные сновидения: убийства, пожары и, главным образом, кровопролитные битвы. Во сне он составлял планы сражений и почему-то особенно часто разбивал именно австрийцев» [Достоевский, 1972–1990, т. 9, с. 453]. К тому же, по воспоминаниям Достоевской, писатель соотносил себя и с «молодым старичком», «мог целыми часами говорить словами и мыслями своего героя, старого князя, из “Дядюшкиного сна”» [Достоевская, 1987, с. 107]. Дочь писателя Л.Ф. Достоевская также свидетельствовала об этом: «Примечательно, что отец дважды, в “Идиоте” и в “Дядюшкином сне”, изобразил себя в лице князя, то есть человека старой, наследственной культуры, и оба раза как дегенерата» [Достоевская, 1992, с. 195].

Повествователь «Идиота» относительно снов князя разъяснил читателю, что в сплетении нелепостей сна всегда заключается какая-то действительная мысль, нечто, принадлежащее к настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в сердце [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 378]. Эти слова убедительно подтверждают, что наполеонизм князя — вещь действительная, оказывающая влияние на его поведение и суждения в различных вопросах. Мотив наполеонизма, который обнаруживается во сне, сближает Мышкина с главным героем романа И.А. Гончарова «Обломов». Оба героя, которых сопоставлял между собой ещё сам Достоевский [Александров, 1990, с. 296], схожи своими снами-грезами, в которых видят себя великими полководцами, подобными Наполеону. В романе Достоевского об этом мы узнаем от самого героя. В романе Гончарова об этом сообщает автор: «Наутро опять жизнь, опять волнения, мечты! Он любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выду-

мает войну и причину ее: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия» [Гончаров, 1998, с. 66].

Т.А. Касаткина прокомментировала признание Мышкина в том, что он разбивает австрийцев, следующим образом: «То есть князь отождествляет себя в шутку с Наполеоном, что подчёркивает мотив самозванчества, пришествия “во имя своё” в этом образе» [Касаткина, 2003, с. 683], а князь даже имеет повседневную привычку приходить туда, куда его не звали — так он впервые является домой к Епанчиным и Настасье Филипповне без всякого приглашения с их стороны. Когда Бонапарт был ровесником двадцатилетнего Мышкина²⁸, он совершал свое восхождение на пути к славе, командуя французской армией в Северной Италии, действующей против армии короля Сардинии и, главным образом, австрийцев. После победных сражений первой Итальянской кампании (Монтенотте, Лоди, Арколе, Ривольи и др.) у Наполеона, по его собственному признанию, появилась вера в свою звезду, обнаружилась первая искра честолюбия [Наполеон, 2003, с. 86]. Автор в описании нерусского плаща князя Мышкина, употребившегося скорее в «Швейцарии, или, например, в Северной Италии» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 6] подчёркивает ощутимую разницу, которая говорит о заведомом провале миссии князя в России в качестве нового Наполеона: «Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 6].

Наполеон и Мышкин связаны в романе многими нитями, в том числе, возможно, и «священной болезнью» — эпилепсией²⁹. Ею же страдал и другой почитатель Наполеона — «слабоумный идиот» (так его назвал прокурор [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 174]) Смердяков, искренно жалеющий о том, что Наполеон проиграл свой Московский поход. В «Идиоте» эпилепсия князя Мышкина также увязана с эпилепсией пророка Магомета. Момент перед самым началом своего эпилептического припадка князь сближает с той самой секундой, «в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 189]. Исследо-

²⁸ Свой возраст (26 лет) князь Мышкин уточняет в разговоре с генералом Епанчиным [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 24].

²⁹ О том, что Наполеон, возможно, страдал от эпилепсии см.: [Ковалевский, 1995, с. 478–484], [Улитин, 2023, с. 75–76].

ватели романа указывали на то, что и в самом образе героя отразились некоторые черты пророка Магомета [Касаткина, 2003, с. 634]. Важно, что образ Мышкина вновь подспудно актуализирует историко-культурное сращение «Наполеон-Магомет», играющее заметную роль в «Преступлении и наказании» [Подосокорский, 2022а, с. 92–114].

Даже имя Мышкина в его французском варианте Léon — так называют героя дети в швейцарской деревне [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 62, 64] — как будто вышло из имени Napoléon³⁰. Сравнение Наполеона со львом широко применялось творцами наполеоновской легенды как в положительном, так и в отрицательном смысле³¹. В начале 1800-х годов парижская «Газета защитников Отечества» и вовсе утверждала, что само имя «Наполеон» «имеет греческие корни и означает “Долина Льва”» [Троицкий, 2020, т. 1, с. 444–445].

Отчество главного героя — Николаевич только укрепляет его сравнение с образом прославленного полководца. О значении имени Николай для понимания наполеоновской темы в «Преступлении и наказании» писал Б.Н. Тихомиров, анализируя образы двух Миколок, «как полярные проявления народного духа». «Николай — “победитель народов” (греч.). Это прочтение вызывает ассоциацию с *Наполеонами*, “установителями и законодателями человечества” из раскольнической теории, которые “были особенно страшные кровопроливцы”» [Тихомиров, 2016, с. 135–136]. Важно и то, что отца князя Мышкина, «армии подпоручика» [Достоевский 1972–1990, т. 8, с. 8], «звали Николаем Львовичем» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 80] — неслучайно, что в расслабленном уме генерала Иволгина имена сына и отца Мышкиных предстанут как двойники друг друга: последнего он по ошибке называет «покойным князем Львом Николаевичем Мышкиным»

³⁰ Именно так, Леон (Léon), половиной своего прославленного имени, Наполеон назвал своего первого незаконнорожденного сына (от лектрисы Каролины Мюрат — Элеоноры Денюэль де ла Плень) [Кирхейзен, 1993, с. 194–195].

³¹ К примеру, сэр Вальтер Скотт писал о восхождении генерала Бонапарта: «Он был подобен молодому, полному сил льву, который, беспощадно истребляя стада и охотников, полностью забыл о родимой скалистой пещере» [Скотт, 1995, т. 1, с. 98]. Наоборот, графиня Анна Потоцкая писала о Наполеоне в период *Ста дней*: «Лев только притворился мертвым и теперь, грозно рыча, встал во всем своем великолепии» [Потоцкая, 2005, с. 243]. Д.Г. Байрон в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» сожалел о поражении Наполеона при Ватерлоо: «Как? Волку льстить, покончив с мощью Льва?» [Байрон, 1981, т. 2, с. 204].

[Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 92]. Младший сын самого генерала Иволгина, к которому несчастный старик перед роковым «ударом» обращался со словами: «le roi de Rome...» (титолом Наполеона II, сына императора Наполеона I), — также имеет в романе имя Николай. Имя Никола́ носил и вымышленный почитатель Наполеона солдат Шовен — популярный национальный герой во французской литературе XIX века. Как пишет Ж. де Пюимеж, «в художественной литературе того времени Никола, как и Жан (Жанно, Жан-голодранец), — типичное крестьянское имя. Достаточно вспомнить “Господина Никола” Ретифа де ла Бретона, созданного в конце XVIII века. Никола часто фигурирует в песнях, например, в “Красавчике Никола Гру”, — герой которого — первый парень на деревне, осаждаемый невестами. Именно по этой причине ультрароялистская пропаганда в эпоху Реставрации переименовала Наполеона в Никола. Когда, направляясь на Эльбу, император въехал в Авиньон, он был встречен криками: “Долой тирана! Долой Никола!”» [Пюимеж, 1999, с. 39].

Уже не раз исследователями подчеркивалось, что герой Достоевского князь Мышкин является тёзкой Л.Н. Толстого, представившего в романе-эпопее «Война и мир» фигуру Наполеона в «разоблачённом» образе глупого и пустого поэтёра. Возможно, Достоевский, наделив своего героя-наполеониста таким именем, тем самым, вступил в скрытую полемику с автором «Войны и мира», противопоставив его нарочито упрощённому и сниженному восприятию личности Наполеона гораздо более сложное и тонкое восприятие этого образа в лице Мышкина.

Не менее важна и фамилия главного героя «Идиота», которая вместе с его именем образует семантический оксюморон. Как отметил Б.Н. Тихомиров, подобный ономастический прием был использован Достоевским в «Преступлении и наказании» в имени героя-наполеониста Раскольникова [Тихомиров, 2016, с. 112]. Фамилия «Мышкин» может указывать на мотив ложного учения и самозванства, поскольку мышь, как и крыса, в христианской традиции являлась символом именно этого явления, непрошенным гостем для многих жилищ и распространителем страшной, губительной заразы³².

³² Г. Бидерманн пишет о связи мыши и дьявола: «Негативный аспект образа мышей основывается на наблюдении, что они не только уничтожают съестные запасы (Аполлон Сминтейский в античности и св. Гертрудис в христианстве должны были от этого защищать), но вместе с крысами могут переносить эпидемические заболевания. Из-за этого они стали символами враждебных человеку сил и дьявольских духов» [Бидерманн, 1996, с. 174].

О наполеонизме Мышкина свидетельствует и тот набор книг, которые он прочел и читает в ходе действия романа. Известно, что несколько книг лежало на столе в комнате князя, когда наутро после «вакхической песни и ссоры» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 402] с Лебедевым к нему пришёл оскорбленный генерал Иволгин. Последний взял у Мышкина одну из книг и вернул ему ее при их второй встрече, когда между ними и состоялся «важный разговор» о Наполеоне [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 410]. Это была книга «Архива» — отдельный номер или сборник, содержащий статьи журнала «Русский архив», из которых особое внимание героев привлекла статья «старого солдата-очевидца о пребывании французов в Москве» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 410]. Немногим позже из диалога Мышкина и генерала становится ясно, что князь великолепно осведомлен в исторической и мемуарной литературе, посвящённой французскому императору. Недаром он добавляет к описаниям генерала новые факты и имена, поправляет или переспрашивает его, когда тот «ошибается» и путается в изложении событий.

В ходе разговора князь также признаётся, что «очень недавно прочел книгу Шарраса о Ватерлооской кампании» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 415]³³. Признание Мышкина важно по двум причинам. Во-первых, оно подтверждает, что «очень недавно» герой читал не только статьи журнала «Русский архив», посвященные войне русских с Наполеоном, но и монографические исследования других военных кампаний Наполеона. Во-вторых, оно в очередной раз свидетельствует и об особых читательских предпочтениях Мышкина по части истории, которой он, в целом, как будто не очень-то интересуется. Так, в день своего рождения он признается, что «плохо знает историю» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 313]; на это же указывает ему и Аглая: «я заметила, что вы ужасно необразованны; вы ничего хорошенько не знаете, если справляться у вас: ни кто именно, ни в котором году, ни по какому трактату? Вы очень жалки» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 430]. Это означает, что изучение истории наполеоновского времени свидетельствует не столько об интересе князя к истории вообще, сколько о его интересе именно к фигуре Наполеона, которого он даже защищает от «нападок» Шарраса: «Книга, очевидно, серьезная, и специалисты уверяют, что с чрезвычайным знанием дела написана. Но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона, и если бы можно

³³ О присутствии книги военного историка Шарраса о последней военной кампании Наполеона в романе «Идиот» см.: [Подосокорский, 2023b].

было оспорить у Наполеона даже всякий признак таланта и в других кампаниях, то Шаррас, кажется, был бы этому чрезвычайно рад; а это уж нехорошо в таком серьезном сочинении, потому что это дух партии» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 415].

Примечательно, что наполеонизм генерала Иволгина, вызывает у другого «кандидата в Наполеоны» — князя Мышкина сначала любопытство, а затем безудержный смех: после ухода Иволгина Мышкину пришла было мысль: «“Не хуже ли я сделал, что довел его до такого вдохновения?” — тревожился князь, и вдруг не выдержал и расхохотался ужасно, минут на десять. Он было стал укорять себя за этот смех; но тут же понял, что не в чем укорять, потому что ему бесконечно было жаль генерала» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 418].

С наполеоновской темой в «Идиоте» тесным образом связана тема апокалиптическая³⁴. Ещё И.В. Гёте замечал: «Легенда о Наполеоне представляется мне чем-то похожей на Откровение Иоанна Богослова: каждый чувствует, что за этим скрывается еще что-то, только никто не знает что» [Людвиг, 1998, с. 9]. Во второй части романа Лебедев предстает как опытный экзегет, занимающийся толкованием Апокалипсиса уже «пятнадцатый год» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 167, 202]. Толкование Лебедевым Откровения Иоанна Богослова позволяет увидеть в его положении Талейрана при Мышкине-Наполеоне (о чем будет рассказано далее) глубокий религиозный мотив, поскольку для многих христиан положение Талейрана при Наполеоне виделось как служба епископа-расстриги у антихриста, продолжавшаяся почти пятнадцать лет.

Скрытое указание на Мышкина как на антихриста можно также обнаружить в словах Лебедева. В начале второй части романа Мышкин посещает его квартиру, где между ними происходит разговор, в котором Лебедев, в числе прочего, распространяется о своем таланте экзегета. Когда его спрашивают: «Правда ли, что ты профессор антихриста?», то он отвечает: «“Аз есмь, говорю”, и изложил, и представил, и страха не смягчил, но еще мысленно, развернув аллегорический свиток, усилил и цифры подвёл. И усмехнулись, но на цифрах и на подобию стали дрожать, и книгу просили закрыть, и уйти, и награждение мне к святой назначили, а на фоминой Богу душу отдали» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 168]. Это искусство «подведения цифр» позволяет Лебедеву делать намеки на *звериное начало* в Мышкине. Так, он делится с князем следующим воспоминанием: «Тот [Рогожин] уже ми-

³⁴ О роли «Апокалипсиса» в романе «Идиот» см.: [Касаткина, 2023b], [Касаткина, 2024].

нуты считал, а она [Настасья Филипповна] сюда в Петербург и прямо ко мне: “Спаси, сохрани, Лукьян, и князю не говори...” Она, князь, вас еще более его боится, и **здесь — премудрость!** И Лебедев лукаво приложил палец ко лбу» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 166]. Можно предположить, что эта фраза содержит аллюзию на слова из Откровения Иоанна Богослова, где словосочетание «здесь мудрость» употребляется всего один раз в следующем контексте: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть» (Отк. 13:18). Из одного этого, конечно, нельзя делать вывод о том, что Мышкин является антихристом, но, именно в таком качестве князь на какой-то миг предстает перед «профессором антихриста» Лебедевым, а возможно, и перед Настасьей Филипповной, которую Лебедев после одного разговора даже «Апокалипсисом стал отчитывать» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 167].

Сам Мышкин говорит об антихристе на вечернем собрании у Епанчиных: «По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нём всё подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор всё так и идёт, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами, всё, всё променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?!» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 450–451]. В тираде князя явление антихриста прочно увязано с римской идеей могучего государства, с продолжением Западной Римской империи. Римская идея всемирного владычества в христианской традиции вступает в определенную связь с эсхатологией. Именно с падением римского царства, как последнего из четырех всемирных царств, согласно известной средневековой теории, предложенной еще Иеронимом, одобренной Августином Блаженным и опирающейся на предания ветхозаветных пророков, должна была завершиться история. Поэтому не только папы, но и могучие основатели империй в Европе, начиная с Карла Великого и Оттона I, стремились подчеркнуть преемственность своей власти с павшей в V веке Западной Римской империей и претендовали на роль представителей истинного Рима. История Средних веков была особенно наполнена сюжетами жестокой борьбы пап и императоров за политическое главенство и идеологическое влияние в странах Европы. Об известном случае такого противостояния в лице императора Священной Римской империи Генриха IV и папы Григория VII (Гильдебранда) упоминает в романе Настасья Филипповна в разговоре с Рогожиным, о чём тот и сообщает князю [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 176].

Интересующей нас фигурой в контексте этой проблемы является фигура Наполеона I, который выступал неизменным адептом приоритета императорской власти над властью пап. Попытки малейшего сопротивления папы Пия VII претензиям Наполеона на священный и главенствующий характер его власти вызывали вспышки ярости у последнего, в одной из которых он написал в письме к вице-королю Италии, пасынку Э. Богарне следующее: «Сын мой, в послании Его Святейшества... я увидел угрозу себе. Неужели он считает, что в глазах Господа права на трон менее священны, чем права на тиару? Но ведь короли появились задолго до пап. Они хотят разоблачить меня перед всем христианством. Каково! Такая глупая мысль может объясняться лишь тем глубоким невежеством века, в котором мы живем. Ошибка, которой тысяча лет. Папа, который решится на подобный демарш, перестанет быть таковым в моих глазах. В таком случае я стану относиться к нему как к антихристу, посланному сюда, чтобы взбаламутить мир...» [Кастело, 2004b, с. 167]. После отлучения Наполеона от церкви император французов обрушился на действия папы со следующей инвективой: «Вы исповедуете религию Папы Григория VII? Я нет. Я придерживаюсь учения Иисуса Христа, который сказал: “Дайте кесарю кесарево”, и, повинувшись Евангелию, я даю Богу Богово. Мой скипетр дан мне Богом. Я несу мирской меч и умею с ним управляться. Троны воздвигает Бог. Не я сел на свой трон: на него посадил меня Господь! А вы, простые смертные, хотите этому воспротивиться? Не хотите молиться за своего монарха из-за того, что римский священник отлучил его от церкви? Вы думаете, я создан для того, чтобы целовать туфлю Папе? Докажите-ка мне, глупцы, что Иисус назначил Папу своим наместником на земле и что тот имеет право отлучать от церкви монархов!..» [Людвиг, 1998, с. 324]. Князь Мышкин, замороженный наполеоновским мифом, фактически солидаризируется с мнением Наполеона, относясь к папе, как к антихристу. Вместе с тем, герой высказывает мысли о характере папства, схожие с которыми разделял автор «Дневника писателя».

Достоевский видел в споре Наполеона и папы лишь продолжение давнего спора «сильных мира сего» за право считать себя полновластным обладателем одного из даров дьявола — всех царств земных. С принятием этого дара и доведением до конца объединения всего человечества в единое послушное стадо должно было, по мнению Великого Инквизитора, «восполниться» всё, «чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третья и

последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 234–235]. В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский прямо указал на амбиции римского папы стать подлинным владыкой всего мира и всех царей земных, «царем над царями и господином над господствующими» [Достоевский, 1972–1990, т. 22, с. 89], т. е. речь идет о подмене Христа римским понтификом. Аллегорически писатель касался спора Наполеона и папы за примат своей власти над миром еще в повести «Дядюшкин сон», где князь К. сближает в навязчивой идее своей собственной похожести две другие идеи-образа: римского папы и императора Наполеона, причем и Мозгляков, и сам дядюшка признают несомненный приоритет последнего:

«— Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона Бона-парте видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бона-парте похож... а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?»

— Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.

— Ну да, это en face. Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 365].

В связи с вышеизложенным, важно понять взгляд Мышкина на проблему всемирного и счастливого устройства человечества. Т.А. Касаткина, указывая на связь образа Наполеона с мотивом земного рая, который хотят построить и обрести герои романа, выделяет в числе прочих символов земного рая город Неаполь, обращая при этом внимание на то, что «Наполеон буквально значит из “Неаполя”» [Касаткина, 2003, с. 658]. Наиболее значимым упоминанием Неаполя в романе является следующее признание князя Мышкина генеральше и девицам Епанчиным: «Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы... Вот тут-то, бывало, и зовёт всё куда-то, и мне всё казалось, что если пойти всё прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней чем у нас; такой большой город мне всё мечтался, как Неаполь, в нём всё дворцы, шум, гром, жизнь... Да мало ли что мечталось! А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 51]. В этом признании изложено одно из первых высказываний князя относительно его «главной идеи», которую он так боялся скомпрометировать впоследствии. Слова эти были навеяны герою воспоминаниями о беспокойстве в связи с мыслью об испытании собственной судьбы: «Сначала, с самого начала, да, позывало, и я впадал в большое беспо-

койство. Всё думал, как я буду жить; свою судьбу хотел испытать, особенно в иные минуты бывал беспокоен» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 50]. Важно и то, что почти сразу же после этого признания герой высказался несколько определеннее в ответ на замечание Аделаиды:

«— Это всё философия, — заметила Аделаида, — вы философ и нас приехали поучать.

— Вы, может, и правы, — улыбнулся князь, — я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать... Это может быть; право, может быть» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 51].

Таким образом, наполеонист Мышкин думает о «поучении» людей, о земном рае для человечества (рае, непременно, с сильным шумом, с громом и дворцами), однако, и здесь его мысль останавливается на тюрьме, на «мёртвом доме», на оковах, которые, возможно, представляются ему неизбежной расплатой для новоявленного Прометея, стремящегося изменить сложившийся миропорядок. Судьба Наполеона, с которым соотносит себя Мышкин и который закончил свои дни в качестве узника англичан, лишь служила подтверждением этой мысли героя.

Мышкин в каком-то смысле повторяет неудачу Наполеона в России. В своих снах он способен по-наполеоновски разбивать австрийцев в Европе, кое-что получается у него и в Швейцарии, но в России он постоянно промахивается и ошибается, и его планы всеобщего счастья разбиваются при столкновении с русской пореформенной действительностью, подобно хрупкой и прекрасной китайской вазе на вечере у Епанчиных. Несовместимость заграничных рецептов общественного благополучия с российскими духовными запросами великолепно прочувствовала Лизавета Прокофьевна Епанчина, критикующая заграничный, европейский уклад жизни: «Хлеба нигде испечь хорошо не умеют, зиму, как мыши в подвале мерзнут...» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 510]. Последнее образное сравнение героини, произнесенное над помешанным князем в финале романа «Идиот», отсылает нас к откровениям «человека из подполья», также зараженного особым, «подпольно-мышинным» наполеонизмом [Назирова, 1982], [Подосокорский, 2012].

Талейран-Лебедев в «Идиоте»

Теперь перейдем к талейрановскому мифу в «Идиоте» в его связи с мифом наполеоновским. Французский государственный деятель

Шарль Морис де Талейран-Перигор, епископ Отенский (1788–1791), князь Беневентский (1806–1815), герцог Дино (с 1815) был, несомненно, одной из самых ярких фигур наполеоновского окружения. Пара «Наполеон и Талейран» вошла в литературу как противопоставление деспотичного, но доверчивого властителя коварному и осторожному дипломату, который всегда следовал за событиями, извлекая из них выгоду. Д.С. Мережковский даже полагал, что Наполеон и Талейран «связаны, как Фауст и Мефистофель, человек и его потусторонняя “тень”: самое не-сущее прилипло к самому сущему» [Мережковский, 1993, с. 51]. Ещё при жизни Талейрана его мастерство интриги, тонкий и обширный ум, поразительная проницательность и остроумие, необыкновенная хитрость, непомерное корыстолюбие и полное забвение моральных норм сделали его имя нарицательным.

Ф.Р. де Шатобриан называл Талейрана «беспутным по натуре и легкомысленным по духу» [Шатобриан, 1995, с. 577] и видел в нем воплощение современного «порока» [Шатобриан, 1995, с. 312]. Графиня А. Потоцкая писала о нем, как о человеке «пресыщенном и разочарованном, жадном до успехов, бесхарактерном и беспринципном, одним словом — нездоровом и душой, и лицом» [Потоцкая, 2005, с. 87]. П.-Ж. Беранже считал, что «в нем не было ничего возвышенного, ничего глубокого, ничего великодушного; эгоист в высшей степени, он признавал свою личную пользу единственным двигателем даже в делах политических» [Беранже, 1979, с. 224]. Г. Гейне называл Талейрана «мастером разложения, Нестором лжи, клятвопреступником двух веков» [Гейне, 1956–1959, т. 9, с. 179].

Через несколько дней после смерти Талейрана в 1838 году В. Гюго написал, что тот, «как паук в своей паутине», привлекал в свой дворец и «забирал героев, мыслителей, великих людей, завоевателей, королей, принцев, императоров, Бонапарта, Сийеса, госпожу Сталь, Шатобриана, Бенжамена Констана, Александра российского, Фридриха-Вильгельма прусского, Франца австрийского, Людовика XVIII, Луи-Филиппа и всех золотых и блестящих мух, которые жужжат в истории последних сорока лет» [Тарле, 1957–1962, т. 11, с. 187].

Имя Талейрана многократно появляется на страницах романов и повестей О. де Бальзака: «Гобсек» (1830), «Евгения Гранде» (1833), «Отец Горио» (1835), «Брачный контракт» (1835), «Дочь Евы» (1838), «Музей древностей» (1838), «Альбер Саварюс» (1842), «Мнимая любовница» (1842), «Онорина» (1843), «Утраченные иллюзии» (1837–1843) и др. Бальзак рассматривал яркую личность Талейрана в сложном единстве относящихся к ней исторических фактов, легенд, преданий и анекдотов. Некоторых своих героев он наделил чертами внешнего

облика Талейрана, иных сравнил с известным дипломатом по причине сходства характеров. Талейран появляется и в художественных произведениях писателей «второго ряда», причем иногда подспудно — в сценах, построенных на загадках и узнавании, например, как «хитрый хромой», в романе А. де Латуша «Фраголетта, или Неаполь и Париж в 1799 году» (1829) [Гречаная, 2006, с. 303].

В России образ Талейрана занимал умы литераторов на протяжении многих десятилетий. Мемуарист Ф.Ф. Вигель называет его «старым обманщиком» [Вигель, 2003, кн. 2, с. 748]. М.Ю. Лермонтов в романе «Княгиня Лиговская» (1836) назвал талейрановской чертой способность «увернуться от решительного ответа» в разговоре [Лермонтов, 2014, с. 125]. И.С. Тургенев первым в русской литературе заговорил о Талейране как о специфическом типе современного человека. В комедии «Месяц в деревне» (1850) он вывел такой литературный тип в лице доктора Шпигельского, которого символически называют «уездным Талейраном», «большим дельцом» и «господином дипломатом» [Тургенев, 1960–1968, т. 3, с. 55, 89, 93]. В характере Шпигельского отмечена склонность к интригам, злоязычие, жажда обогащения. «...Не только из пятнадцати, изо ста тысяч; а чужому я из-за куля муки низехонько поклонюсь» [Тургенев, 1960–1968, т. 3, с. 122], — откровенно заявляет этот персонаж. Позднее Тургенев вновь использовал сравнение литературного героя с Талейраном в повести «Затишье» (1854), где Веретьев называет «Талейраном этаким» Стельчинского за притворство последнего [Тургенев, 1960–1968, т. 6, с. 143]. А.Ф. Писемский вслед за И.С. Тургеневым в романе «Тысяча душ» (1858) также использовал имя Талейрана для обрисовки портрета князя Ивана, который, подобно Шпигельскому, является носителем талейранизма. Так, один из персонажей, уважающий деловитость князя, говорит о нем: «Талейран, сударь, нашего времени, Талейран» [Писемский, 1959, т. 3, с. 112].

Имя Талейрана широко использовалось писателями и критиками и в качестве емкой характеристики применительно к своим литературным оппонентам. В.Г. Белинский, к примеру, так отзывался о Н.В. Гоголе в письме к В.П. Боткину от 28 февраля 1847 года: «Это — Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал Бога, а при смерти надул сатану» [Белинский, 1953–1959, т. 12, с. 340]. И.С. Тургенев в письме И.А. Гончарову от 7 апреля 1859 года, наоборот, просил не считать себя «таким Талейраном, что уу!» [Тургенев, 1982–, т. 4, с. 36]. Н.С. Лесков называл «московским Талейраном» издателя М.Н. Каткова [Лесков, 1958, с. 161].

Ф.М. Достоевский впервые употребил имя Талейрана, как символ ловкости и изворотливости в достижении поставленных целей, в

своём переводе романа О. де Бальзака «Евгения Гранде». Бальзак в первой главе романа назвал «Талейраном» одного второстепенного персонажа: «Du côté des Cruchot, le petit Talleyrand de la famille, bien appuyé par son frère le notaire, disputait vivement le terrain à la financière, et tentait de réserver le riche héritage à son neveu le président» [Balzac, 1839, p. 25]. Достоевский перевел эту фразу о Талейране таким образом: «Со стороны же Крюшо работал их аббатик, Талейран в миниатюре, и достопамятно поддерживаемый братом нотариусом, с честью выдерживал бой с банкиршей, в пользу своего племянника, президента» [Достоевский, 1995, с. 425]. В письме к А.Е. Врангелю от 21 декабря 1856 года писатель уже критически назвал «Талейранами» некоторых своих соотечественников: «О барнаульских я не пишу Вам. Я с ними со многими познакомился; хлопотливый город, и сколько в нем сплетен и доморощенных Талейранов!» [Достоевский, 1972–1990, т. 28, с. 252]. Это его наблюдение, возможно, нашло отражение в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), где дядя Егор Ильич Ростанев признается своему племяннику: «Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься» [Достоевский, 1972–1990, т. 3, с. 40]. В романе «Униженные и оскорбленные» (1861) князь Валковский упоминает имя Талейрана в обращении к Ивану Петровичу как символ необыкновенной осведомленности в чужих делах и секретах, а также умения «поддеть» другого человека этой своей осведомленностью [Достоевский, 1972–1990, т. 3, с. 367].

Однако в наибольшей полноте символическое имя «Талейран» в произведениях Достоевского раскрывается именно в романе «Идиот» — в образе Лукьяна Лебедева. Особую пикантность талейрановской легенде в этом петербургском тексте писателя придает то обстоятельство, что во время написания и выхода романа «Идиот» послом Франции в Российской империи (с 1864 по 1869 год) был барон Шарль де Талейран-Перигор (1821–1896), сын воспитанницы, а на самом деле внебрачной дочери [Нечаев, 2013, с. 120], знаменитого Талейрана — Шарлотты. Иначе говоря, действие «Идиота» происходит в городе, в котором Францию Наполеона III тогда представлял родной внук великого интригана и наполеоновского министра иностранных дел, носивший вдобавок то же имя — Шарль³⁵.

О своём талейранизме Лебедев сам сообщает князю Мышкину накануне венчания последнего: «Когда он пришел потом, почти уже

³⁵ В своих депешах в Париж посол Ш. де Талейран-Перигор, в числе прочего, сообщал о росте в российском обществе оппозиционных настроений [Черкасов, 2010, с. 151].

в день свадьбы, к князю каяться (у него была непрменная привычка приходить всегда каяться к тем, против кого он интриговал, и особенно если не удавалось), то объявил ему, что он рожден Талейраном и неизвестно каким образом остался лишь Лебедевым» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 487]. К подобным признаниям героев Достоевского нельзя не относиться предельно внимательно, тем более, что в данном случае речь идет о Лебедеве, знатоке «имен исторических» и того, где их найти «можно и должно» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 8].

Лебедев в роли Талейрана создает подобие «наполеоновского окружения» князя Мышкина, утверждая тем самым еще одну ипостась этого многосоставного образа. Книжка «Архива» со статьей очевидца войны 1812 года могла незамедлительно появиться у Мышкина сразу же после ссоры генерала с Лебедевым, которого в романе дважды аттестуют «преначитанным» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 165, 212] и который имел у себя на даче хорошую библиотеку, включавшую «превосходно переплетенные и почти новые» книги, которые их обладатель был готов поднести «с благоговением и почтительностью» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 212] и «за свою цену» тем лицам, в расположении которых он был заинтересован³⁶. Книжки по истории наполеоновских войн мог подобрать для Мышкина услужливый хозяин дачи по личной просьбе самого князя. Трудно предположить, что следивший за каждым шагом князя Лебедев не знал о его интересе к фигуре Наполеона.

Таким образом, Лебедев, признавшийся Мышкину в том, что он «рожден Талейраном», сознательно и с известной долей юмора пытался оправдать свои «низости» историческим примером предательства Наполеона Талейраном, что должно было, с одной стороны, польстить

³⁶ А вот что пишет о библиотеке настоящего Талейрана его биограф Ю.В. Борисов: «Кстати, книги не представляли для Талейрана только духовную ценность. Ведь собрание книг могло быть и капиталом. Его интересовали и редкие, дорогие издания с мастерски выполненными переплетами. Впоследствии о библиотеке Талейрана говорили: “Странная подборка разнообразных книг как светских, так и священных, как скептических или атеистических, так и христианских и ортодоксальных; полки, переполненные произведениями благочестивыми и легкомысленными, здесь и Град Божий и Град земной, сатана и политика”» [Борисов, 1986, с. 14]. Стоит добавить, что среди псевдонимов, под которыми перед войной 1812 года обозначался Талейран в секретной переписке российского статс-секретаря К.В. Нессельроде с Петербургом, были «наш книгопродавец» и «юрисконсульт» [Тарле, 1957–1962, т. 11, с. 84].

князю, а с другой стороны — высмеять его наполеоновские претензии. Подобный способ «ролевой игры» Лебедев уже использовал ранее, в разговоре с генералом Иволгиным, когда в ответ на его рассказ о службе камер-пажом у Наполеона в Москве 1812 года, сочинил фантастическую историю о собственном участии ещё ребёнком в той же войне, но с более трагическими последствиями. Несмотря на то, что Лебедев берет на себя роль Талейрана, исходя из своего иронического взгляда на наполеонизм князя и генерала, сравнение «Талейран-Лебедев» в романе «Идиот», несомненно, воспроизводит и обыгрывает некоторые реальные моменты из биографии исторического Талейрана, и значительно обогащает наше знание о явлении талейранизма в русской литературе XIX века.

Лебедев, «человек довольно хитрый и извилистый, а в некоторых случаях даже слишком коварно-молчаливый» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 406], появляется уже в первой главе романа в качестве «господина всезнайки», владеющего соблазнительной наукой о доходах, служебном положении, о дружеских и родственных связях наиболее заметных и влиятельных членов столичного общества. Автор подчеркивает, что тип всезнайки Лебедева довольно распространен: «Я видал ученых, литераторов, поэтов, **политических деятелей**, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 8].

Добровольно принимая на себя роль «петербургского Талейрана» при Наполеоне-Мышкине, Лебедев ведет себя как прирожденный актер. Неслучайно князь Мышкин говорит ему: «Ах, Боже, что, Лукьян Тимофеич, у вас всё за роли!» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 406]. Примечательно, что даже разница в возрасте между Лебедевым и Мышкиным почти такая же, какая была между дипломатом Талейраном и генералом Бонапартом: Наполеон Бонапарт родился в 1769 году, Талейран — в 1754 году; Мышкину же — 26 лет [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 24], а про Лебедева говорится, что он был «лет сорока» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 7]. Таким образом, получается, что разница в возрасте в обоих случаях составляет 14–15 лет.

Уже в начале романа Лебедев указывает на узелок Мышкина, в котором «не заключается золотых заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арапчиками» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 7]. Речь идёт о золотых монетах, каждая из которых имеет важное символическое значение. Наполеондоры упоминаются в художественных произведениях Достоевского несколько раз, и эти упоминания всегда служат указанием на потаённое наполеоновское начало в герое. Наполеондоры и фридрихсдоры получили свое название, изображение и надпись от великих военных и государственных дея-

телей Европы Нового времени — Наполеона I и Фридриха II, которые в разных битвах многократно разбивали австрийцев, а именно в таком образе, *победителя австрийцев*, видит себя князь Мышкин в своих снах [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 354]. В отличие от рассказа «Господин Прохарчин», где наполеондор, однозначно, несет на себе изображение Наполеона I, наполеондоры, упоминаемые в романе «Идиот», служат отсылкой не только к образу Наполеона I, но и к образу Наполеона III, с которым Мышкин похож внешне своей бородкой (как и Ганя Иволгин).

Лебедев обладает поистине талейрановской способностью — всецело владеть беседой и создавать у других впечатление, что его услуги и посредничество решительно им необходимы. Уже при первом своем появлении в поезде под Петербургом Талейран-Лебедев «ввязывается» в разговор Мышкина и Рогожина. С усиленной важностью он демонстрирует свое всезнайство, всю беспокойную пытливость своего ума, когда разговор касается больших денег. Узнав о наследстве Рогожина, он так и повис над ним, «дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 10]. На пути к намеченной цели пытливого чиновника не останавливают даже прямые угрозы физического воздействия:

«— А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе Бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил, — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.

— А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел...» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 13].

Такое поведение Лебедева, который и позднее, не теряя «чрезвычайно довольного вида», будет говорить о своем общественном положении: «Всяк изощряется над ним и всяк вмале не пинком сопровождает его» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 168], — можно соотнести с оценкой Гейне, данной Талейрану в статье о парижской художественной выставке 1831 года: «Это человек, которому можно было дать пинок в зад, а стереотипная улыбка все-таки не исчезала с его губ. Это человек, который четырнадцать раз изменил присяге и талантами которого в деле лжи пользовались все сменявшие друг друга правительства Франции, когда надо было совершить какое-нибудь убийственное вероломство...» [Гейне, 1956–1959, т. 5, с. 182]. Оценка Гейне, в свою очередь, возможно, восходит к словам наполеоновского маршала Жана Ланна (1769–1809)³⁷: «Когда говоришь с Талейраном и смотришь ему в лицо, никогда не заметишь, что его пинают в зад» [Людвиг, 1998, с. 296].

³⁷ Достоевский прекрасно знал биографию Ланна, посвятив ему, как не только «искуснейшему предводителю войск», но и «другу

Постепенно в разговоре трех пассажиров в тоне Лебедева появляется «победоносность» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 11], и в конце главы автор констатирует, что «Лебедев кончил тем, что достиг своего» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 14]. Лебедев-Талейран, избравший себе первоначально «хозяином» Рогожина, увязался за ним с тем, чтобы стать его главным советником, разумеется, не бескорыстно. Когда шумная ватага рогожинцев явилась на квартиру Гани Иволгина, Лебедев не отставал от Рогожина как тень, поддакивал ему и что-то нашептывал на ухо. В таком же статусе Лебедев предстает и во время посещения Рогожиным квартиры Настасьи Филипповны. Там он выступает «почти рядом с Рогожиным» и отвечает за последнего из угла. Вместе с тем, он готов переменить хозяина на хозяйку, повинувшись лишь значению денег. В этой своей страсти к богатству он схож не только со своим историческим прототипом, который неоднократно высказывал совет: «Прежде всего — не быть бедным» [Тарле, 1957–1962, т. 11, с. 29], но и с тургеневским «уездным Талейраном» Шпигельским. Однако если последний лишь говорит о том, что готов поклониться чужому «из пятнадцати, из ста тысяч», то Лебедев непосредственно ползает на коленях перед камином, в который Настасья Филипповна бросила пачку со ста тысячами рублей, принесенных ей Рогожиным.

Многое проясняет и разговор князя Мышкина с Лебедевым, произошедший на квартире последнего, куда князь пришел после своего полугодового отсутствия в Петербурге. Лебедев заманивает князя к себе на дачу, причем делает это ненавязчиво, а так, будто об этом попросил его сам князь — в этом вновь проявляется его талейранизм. Стоит вспомнить один характерный диалог Наполеона и его министра иностранных дел: «Вы король беседы в Европе. Каким же секретом вы владеете?» — спросил однажды Наполеон у Талейрана. Тот ответил: «Когда вы ведете войну, вы всегда выбираете ваши поля сражений?.. И я выбираю почву для беседы. Я соглашусь только с тем, о чем я могу что-либо сказать. Я ничего не отвечаю... В общем, я не позволю задавать себе вопросы никому, за исключением вас. Если же от меня требуют что-то, то это именно я и подсказал вопросы» [Борисов, 1986, с. 158]. Автор «Идиота» также замечает, что Лебедев только и подводил к тому, чтобы князь сам захотел переехать к нему на дачу: «Целое столкновение и целый новый оборот дела» представился вдруг воображению его. Предложение князя он принял чуть не с восторгом, так

Наполеона», целую сцену в своих «Зимних заметках о летних впечатлениях» [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 89–90].

что на прямой вопрос его о цене даже замахал руками» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 169].

В этой же главе Лебедев вспоминает о терроре времен Великой французской революции. Для Лебедева в роли Талейрана это приобретает особое значение, поскольку настоящий Талейран, сумев избежать гильотины, долгое время был живым свидетелем этих грозных событий и впоследствии часто обращался к воспоминаниям о дореволюционной Франции со словами: «Кто не жил в годы, близкие к 1789-му, [тот] не знает, что такое радость жизни» [Борисов, 1986, с. 15]. В этом смысле дополнительную смысловую нагрузку приобретает и насмешливый вопрос племянника Лебедева, обращенный к его дяде, что тот «один только и знает», «что такое была она, Дюбарри?» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 164]. В своей маске Талейрана Лебедев, действительно, мог претендовать на такую исключительность. Известно, что в молодом возрасте Ш.М. Талейран посещал, в числе других знатных молодых людей, салон фаворитки Людовика XV госпожи Дюбарри и был с нею лично знаком. «“Отчего вы так грустны? — спросила его раз фаворитка Людовика XV, госпожа Дюбарри <...>. — Неужели у вас нет ни одного романического приключения?” — “Ах, мадам, — вздохнул в ответ Талейран, — Париж — это такой город, где гораздо легче найти себе женщину, чем хорошее аббатство!”» [Тарле, 1957–1962, т. 11, с. 27].

Отношения Наполеона-Мышкина и Талейрана-Лебедева представляют собой историю доверчивости первого и коварства последнего. Уже в подготовительных материалах к роману «Идиот» Достоевский записал: «Лебедев и князь. Семейство Лебедева. Лебедев — философ. Бесперывно надувает Князя. Черта его» [Достоевский, 1972–1990, т. 9, с. 221] — эта намеченная линия проходит через весь роман. «Рожденный Талейраном» Лебедев служит нескольким господам: Рогожину он доносит на князя, а князю на Рогожина, шпионит и обманывает князя, участвует во всевозможных интригах, да так, что князь Мышкин даже однажды говорит ему: «вы ужаснейший интриган!» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 406]. Это можно соотнести с высказываниями Наполеона о Талейране: «Это — человек интриг, человек большой безнравственности, но большого ума и, конечно, самый способный из всех министров, которых я имел» [Тарле, 1957–1962, т. 11, с. 56]; «Это негодяй, человек коррумпированный, но умный, человек, который всегда ищет способ предать. <...> Нельзя было заключить ни одного договора, ни одного торгового соглашения без того, чтобы предварительно не заплатить ему» [Нечаев, 2013, с. 337].

Несмотря на это, князь Мышкин долгое время не покидает дачи Лебедева и остается почти доволен его гостеприимством. Это обсто-

ятельство проясняется тем, о чем писал в своих мемуарах реальный князь Беневентский: «Поведение Наполеона в отношении меня отличалось той странностью, что именно в те периоды, когда у него было больше всего подозрений против меня, он стремился приблизить меня к себе» [Талейран, 1959, с. 282].

«Преначитанный» Талейран-Лебедев, любивший употреблять в своей речи французские слова и словечки, а иногда и высказывать «французские мысли», вроде Вольтеровой³⁸ мысли о дьяволе [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 311], обладает и другой способностью — скрывать свои мысли при помощи своего языка, говорить много и никогда не говорить всего. Князь Мышкин в разговоре с генералом Иволгиным отметил в Лебедеве «хитрый, а иногда и забавный ум» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 410]. Однако этот ум Лебедев использует, главным образом, для извлечения личной выгоды из любых ситуаций. Он признается Мышкину: «<...> и слова, и дело, и ложь, и правда — всё у меня вместе, и совершенно искренно. Правда и дело состоят у меня в истинном раскаянии, верьте не верьте, вот поклянусь, а слова и ложь состоят в адской (и всегда присущей) мысли, как бы и тут уловить человека, как бы и чрез слезы раскаяния выиграть! Ей Богу, так!» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 259].

Талейран-Лебедев в четвертой части романа путем интриг участвует в том, чтобы брак Наполеона-Мышкина с Настасьей Филипповной не удался. В этом можно усмотреть шлейф от реального исторического события, когда Талейран весьма успешно помешал женитьбе Наполеона на сестре императора Александра I, великой княжне Анне Павловне [Нечаев, 2013, с. 152], [Лодей, 2009, с. 318]. Примечательно, что «Талейраном» Лебедев объявляет себя как раз незадолго до так и не состоявшегося брака, «почти уже в день свадьбы» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 487]. Келлер в последние дни безуспешно старался открыть Мышкину-Наполеону глаза на происходящее: «Этот Лебедев интригует против вас, князь, ей Богу! Они хотят вас под казенную опеку взять, можете вы себе это представить, со всем, со свободною волей и с деньгами...» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 487].

Крушение князя Мышкина никак не сказалось на положении Лебедева. В заключении про него сообщается, что он живет по-прежнему и

³⁸ Настоящего Талейрана под конец жизни даже сравнивали с Вольтером. Так, во время его выступления 3 марта 1838 года на заседании Академии моральных и политических наук Виктор Кузен воскликнул под гром аплодисментов: «Это живой Вольтер! Это Вольтер во всем блеске своего таланта!» [Нечаев, 2013, с. 333].

изменился мало [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 508], почти как Талейран после ухода с политической сцены Наполеона.

Лакей Смердяков как почитатель Наполеона

Образ лакея Смердякова, персонажа последнего и итогового романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», на многие десятилетия стал в русской критике, публицистике и художественной литературе символом антигосударственных настроений, презрения к России, приземленности души и раболепия перед Западом. Д.С. Мережковский в сборнике «В тихом омуте» (1896–1915) поставил в один ряд «позитивную пошлость», «хамство» и «смердяковщину» русской интеллигенции [Мережковский, 1914, т. 16, с. 60]. Н.А. Бердяев в работе «Духи русской революции» (1918) назвал «смердяковщину» низкой, лакейской стороной русского нигилизма [Бердяев 2009, с. 692]. А.З. Штейнберг в книге «Система свободы Ф.М. Достоевского» (1923) писал, что Достоевский заставил «позитивизм развиваться до смердяковщины» [Штейнберг, 1980, с. 35]. И. Бабель в заметке «Ложь, предательство, смердяковщина» (1937) клеймил уже «врагов» советской власти, как новых смердяковых [Бабель, 1937, с. 4]. Не менее резок по отношению к «смердяковщине», объединяющей не только тип Смердякова, но и других героев Достоевского вроде Фомы Фомича Опискина, был и писатель-эмигрант В.Е. Максимов. В его романе «Семь дней творения» (1971) читаем: «Смердяковщина захлестнула Россию. Дорогу его величеству, господину Смердякову... Все можно, все дозволено!.. Фомы Фомичи вышли делать политику... И они еще спялят мир. Вот увидите, Лашков, спялят...» [Максимов, 1991, с. 213].

Для представителей самых разных литературных партий и направлений Смердяков оказался очень удобным сравнительным примером для развенчания своих идеологических противников. Главное, что объединяет подобные оценки Смердякова и «смердяковщины», — это, как правило, полное игнорирование жизненной трагедии конкретного героя Достоевского и контекста, в котором им и была высказана ненависть к России. А этот контекст, как всегда у Достоевского, чрезвычайно важен, и если как следует вчитаться в текст романа, то можно увидеть, откуда выросли *антипатриотизм* Павла Смердякова и его преклонение перед неудачливым завоевателем России Наполеоном.

Свою знаменитую антивоенную и «русофобскую» тираду Смердяков произносит в беседе с Марьей Кондратьевной. Непризнанный

член карамазовского семейства восклицает, что ненавидит Россию и жаелет уничтожения ее армии:

«— <...> Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.

— Когда бы вы были военным юнкерочком али гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать.

— Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с.

— А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

— Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Со всем даже были бы другие порядки-с» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 205].

Отметим, что ненависть к России отнюдь не является в романе отличительной чертой одного Смердякова, но, можно сказать, что она досталась ему по наследству от его настоящего отца, провинциального помещика. Федор Павлович Карамазов, как и его сын-лакей, также любил иногда за коньячком поругать Россию по-русски и по-французски: «А Россия свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию... то есть не Россию, а все эти пороки... а пожалуй, что и Россию. Tout cela c'est de la cochonnerie [Все это свинство (*франц.*)]» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 122].

Предательские настроения, подобные смердяковским, изображались и ранее в русской литературе, но писателями даже не второго, а третьего ряда. Можно, к примеру, вспомнить повесть В.А. Ушакова «Хамово отродье. Картина русского быта», опубликованную в третьем выпуске антологии «Сто русских литераторов» (1845). Критик В.Г. Белинский в своем подробном разборе названного сборника особенно уничижительно отозвался об этом произведении: «повесть его “Хамово отродье” (картина русского быта) — верх бездарности, дурного тона, скуки, вялости, растянутости и пустословия. Беспутно воспитанного дворянчика обворовывает его лакей, которого в детстве нещадно пороли за шалости барина. Дворянин промотался, и его имение перешло в руки его же холопа, который сумел сделаться чиновником. Сын этого холопа, непричастный грехам отца и воспитанный гораздо лучше, нежели был воспитан барин его отца, во время нашествия Наполеона переходит в службу неприятеля, сражается против русских и потом зло погибает, как подобает изменнику, — погибает не от презрения общественного, а от ран... И между тем он был, по словам сочи-

нителя, не зол, не развратен, не порочен; вся беда вышла, во-первых, от холопской крови, во-вторых, оттого, что строгому правосудию морального сочинителя необходимо было погибелью сына наказать преступление отца» [Белинский, 1953–1959, т. 9, с. 270].

Экстравагантное поведение лакея Смердякова спустя полвека после событий войны 1812 года вызвано его бунтом против отца земного и Отца Небесного. И, надо полагать, его очарованность Наполеоном — еще одно следствие этого бунта. Вспомним, как происходило начальное обучение Смердякова всемирной истории: «Федор Павлович запретил наистрожайше Григорию наказывать мальчишку телесно и стал пускать его к себе наверх. Учить его чему бы то ни было тоже пока запретил. Но раз, когда мальчику было уже лет пятнадцать, заметил Федор Павлович, что тот бродит около шкафа с книгами и сквозь стекло читает их названия. У Федора Павловича водилось книг довольно, томов сотня с лишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову: “Ну и читай, будешь библиотекарем, чем по двору шляться, садись да читай. Вот прочти эту”, — и Федор Павлович вынул ему “Вечера на хуторе близ Диканьки”.

Малый прочел, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив, кончил нахмурившись.

— Что ж? Не смешно? — спросил Федор Павлович.

Смердяков молчал.

— Отвечай, дурак.

— Про неправду всё написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков.

— Ну и убирайся к черту, лакейская ты душа. Стой, вот тебе “Всеобщая история” Смараглова, тут уж всё правда, читай. Но Смердяков не прочел и десяти страниц из Смараглова, показалось скучно. Так и закрылся опять шкаф с книгами» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 115].

Мы не знаем, какие именно немногие страницы и из какого конкретно выпуска учебного пособия С.Н. Смараглова прочел Смердяков, но важно, что «правда», по выражению Федора Павловича, заключающаяся в его сочинении была весьма критической по отношению к Наполеону. Это в свое время вызвало даже отповедь Белинского, рецензировавшего смарагдовский труд. Он, в частности, писал: «История Наполеона у него — решительный памфлет. Можно подумать, что г. Смараглов рассказывает современные события, для которых невозможно спокойное беспристрастие. Поступки Наполеона он называет то дерзкими, то наглыми, то отвратительными — словом, решительно ругается... В египетской экспедиции он приписывает Наполеону бесче-

ловечные поступки; короче, по его мнению, такого ужасного человека, как Наполеон, и свет не производил... Sic transit gloria mundi!..» [Белинский, 1953–1959, т. 8, с. 293]. Конец этой книги критик и вовсе сравнил с «сухим перечнем, из которого ничего нельзя узнать» [Белинский, 1953–1959, т. 8, с. 293].

Таким образом «скучной» и не вполне «правдивой» «Всеобщая история» Смарагдова оказалась отнюдь не одному только пятнадцатилетнему Смердякову. Если допустить, что Смердякову дали прочесть именно ту «Историю» Смарагдова, в которой говорилось о позднейших временах, то, возможно, что уже тогда он полюбил, из чувства протеста, того, кого так сильно ругал автор рекомендованной ему Федором Павловичем книги. После краткого знакомства с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» его с негодованием отправили к черту, после непродолжительного чтения «Всеобщей истории» Смарагдова он, так получилось, сам «отправился» к Наполеону. Как метко заметил Г.С. Померанц, «у Толстого Наполеон опрохачивается почти что в лакея, у Достоевского лакей начинает мыслить и смотреть Наполеоном» [Померанц, 1990, с. 57–58].

В комментарии к словам Смердякова об «императоре Наполеоне французском первом, **отце** нынешнему» в 14 томе Полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского в 30 томах сообщается, что «Наполеон I не был отцом Наполеона III, о котором говорит Смердяков. Наполеон III был сыном брата Наполеона I — Людовика Бонапарта, короля Голландии» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 550]. Однако дело здесь, как и практически всегда у Достоевского, вовсе не сводится к простой фактической «ошибке» или исторической «неточности» героя, тем более что тема родства двух Наполеонов затрагивалась писателем и ранее. В «Записках из Мертвого дома» (1861–1862) «самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжников» Петров спрашивал Горянчикова о Наполеоне III: действительно ли тот «родня тому, что в двенадцатом году был?» [Достоевский, 1972–1990, т. 4, с. 83].

Смердяков, сам будучи незаконнорожденным сыном Федора Павловича Карамазова, называет императора Наполеона I «отцом» Наполеона III, имея на это основания. Родившийся в 1808 году Шарль Луи Наполеон Бонапарт (будущий Наполеон III) почти не знал своего отца, Людовика Бонапарта, потому что ко времени его рождения отношения его родителей были напрочь испорчены. Еще при жизни Наполеона III ходили упорные слухи, что его настоящим отцом является вовсе не Людовик Бонапарт [Бабина, 2021, с. 41], да и сам Людовик «испытывал особую неприязнь» к этому ребенку и «всегда утверждал, что это не его сын» [Стэктон, 2012, с. 17]. При этом, согласно законам Первой

империи, именно император Наполеон I выбрал имя для своего племянника [Бабина, 2021, с. 50–51] — его нарекли в честь деда (Шарлем), отца (Луи) и дяди (Наполеоном). Высказывались предположения, что именно император и являлся подлинным отцом детей Гортензии [Нечаев, 2010, с. 106], [Черкасов, 2019, с. 277], но, даже если эти слухи были абсолютно беспочвенны, достоверно известно, что Наполеон I был **крестным отцом** Наполеона III [Бабина, 2021, с. 61], причем к моменту его крещения в ноябре 1810 года Гортензия и Людовик окончательно расстались друг с другом, а последний лишился голландской короны и впал в немилость могущественного старшего брата. Напомним, что перед тем как назвать Наполеона I «отцом» Наполеона III Смердяков поет характерную песню:

Царская корона —
Была бы моя милая здорова.
Господи пом-и-илуй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!

[Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 204].

Иначе говоря, Наполеон I не просто стал отцом возрожденной Наполеоном III империи, но и являлся *крестным отцом* своего племянника (в условиях, когда настоящий отец от ребенка фактически отказался), а также тем, кто дал ему свое имя. При этом Смердяков, восхищающийся Наполеоном I именно как «отцом» Наполеона нынешнего, испытывает особую неприязнь к своему назначенному «отцу»-воспитателю — слуге Григорию Кутузову. Здесь Достоевский обыгрывает великое противостояние двух полководцев войны 1812 года — Наполеона, на которого ориентируется Смердяков, и Кутузова, названного в труде Смарагдова «достойным учеником Суворова, вождем, душою и именем русским» [Смарагдов, 1844, с. 536].

На протяжении всего текста слуга Григорий Кутузов называется «стариком» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 85, 93, 127, 413, 414, 438, 444], [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 18, 99, 163]. Военачальника М.И. Кутузова в войну 1812 года также часто звали за глаза «стариком», что отразилось в мемуарах и исторических трудах³⁹. Да и сам

³⁹ «Стариком» Кутузова называет его адъютант князь А.Б. Голицын [Гордин, 2012, с. 66]. Неоднократно называет Кутузова «стариком» в своем описании военных кампаний 1812 и 1813 годов и особо

М.И. Кутузов порой называл себя в письмах того времени «стариком» [Синельников, 2007, с. 354].

Автор описывает карамазовского слугу Григория Кутузова следующим образом: «Это был человек **твердый** и **неуклонный**, упорно и прямолинейно идущий к своей точке, если только эта точка по каким-нибудь причинам (часто удивительно нелогическим) становилась пред ним как непреложная истина. Вообще говоря, он был честен и неподкупен» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 86]. Даже когда ему представилась возможность уйти от своего взбалмошного господина после освобождения крестьян в 1861 году, к чему его настоятельно подталкивала жена, Марфа Игнатьевна, он решил, что все равно останется с ним, так как в этом заключается его «долг» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 86]. «В некоторых вещах жизни надо было держать ухо востро, и при этом тяжело было без верного человека, а Григорий был человек **вернейший**. Даже так случалось, что Федор Павлович много раз в продолжение своей карьеры мог быть бит, и больно бит, и всегда выручал Григорий, хотя каждый раз прочитывал ему после того наставление» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 86], — отмечает повествователь.

Похожим образом описывал «главные свойства души» светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова (1745–1813) один из его первых биографов Ф.М. Синельников в книге, впервые вышедшей вскоре после смерти генерал-фельдмаршала, в 1813–1814 годах: «Отличительнейшие черты светлейшего князя преимущественно были: великий и **твердый** дух, любовь к человечеству, **постоянство** в намерениях и предприятиях, **преданность** к Государю и приверженность к отечеству. Благоразумие, мужество и личная храбрость были неразлучные его спутники; а вера и закон христианский — наилучшее его руководство в жизни. Он столько радел о благе общественном, что презирал все подлые и язвительные действия злобы и зависти, которые всегда истощали свои усилия, дабы совратить его с того поприща, на котором он жертвовал собою отечеству. Тщетно друзья и родные его советовали ему, оставив государственную службу и общественное звание, рождающее столь много врагов и недоброжелателей, уклониться под безмятежную сень семейственного покоя. “Нет! — говорил он, — я никогда не перестану служить своему Государю и Отечеству, никогда не дам причины порадоваться врагам моим и сказать: «Мы превозмогли его». Нет! Этого не будет”» [Синельников, 2007, с. 424–425].

ценимый Достоевским историк Ф.К. Шлоссер [Шлоссер, 1868–1877, т. 6, с. 597, 612].

В своих казуистических рассуждениях о христианской вере Смердяков поучает слугу Григория: «Рассудите сами, Григорий Васильевич, — ровно и степенно, **сознавая победу**, но как бы и **великодушничая с разбитым противником**, продолжал Смердяков, — рассудите сами, Григорий Васильевич: ведь сказано же в Писании, что коли имете веру хотя бы на самое малое даже зерно и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет, нимало не медля, по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич, коли я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами-с сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море (потому что до моря отсюда далеко-с), но даже хоть в речку нашу вонючую съехала, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет-с, а всё останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричали-с» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 120].

Почитатель Наполеона Смердяков, как видно из текста, не просто делится своими сомнениями относительно силы веры современных христиан, но пытается именно «победить», «разбить», одержать верх над слугой Григорием Васильевичем Кутузовым, имя которого отсылает сразу к трем выдающимся русским военачальникам и «слугам» государевым, не претендовавшим на высшую власть в стране: **Григорию** Потемкину, Александру **Васильевичу** Суворову и Михаилу **Кутузову**, причем в годы Русско-турецкой войны 1787–1791 годов Потемкин был начальником Суворова, а Суворов — командиром Кутузова. Не верящий в Бога Смердяков полагает, что сдвинуть гору силою молитвы современному человеку невозможно, хотя именно эту способность и выделял в учителе Кутузова, Суворове, его младший современник Г.Р. Державин⁴⁰, причем за несколько лет до знаменитого Швейцарского горного похода 1799 года:

Ступит на горы — горы трещат;
Ляжет на море — бездны кипят;
Граду коснется — град упадает;
Башни рукою за облак бросает:

⁴⁰ Цитируемую нами далее державинскую «Песнь Екатерине II на победы графа Суворова-Рымникского 1794 года» Достоевский использовал в качестве пояснения для выражения своих идей еще в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), связав эти стихи с евангельскими словами Христа о том, что «если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20) [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 365].

Дрогнет природа, бледнея пред ним;
Слабые трости щадятся лишь им.
[Державин, 1794, с. 4]

В записях последнего года жизни Достоевский неслучайно отметил как лучших людей в русском народе Алексея — человека Божия, Суворова, Кутузова и доктора Гааза. Все эти образы в разной мере присутствуют в его итоговом романе, и все они являют принципиально иной, чем наполеоновский, тип взаимодействия с миром, который можно назвать принципом служения. Жизненное кредо Суворова заключалось в служении армии, царю и Богу, о чем Г.Р. Державин писал в «Снигире» (1800):

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов;
С горстью россиян все побеждать?

Быть везде первым в мужестве строгом,
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и Богом,
Скиптры давая, зваться рабом,
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?
[Державин, 1864–1883, т. 2, с. 347–348].

Фамилия штабс-капитана Снегирева а «Братьях Карамазовых» как раз и отправляет к Суворову через державинского «Снигиря» (на это первой указала Т.А. Касаткина⁴¹), причем этот герой, подобно господину Голядкину и генералу Иволгину, так же не чужд тому, чтобы

⁴¹ Т.А. Касаткина заметила в 2007 году по поводу нашей статьи [Подосокорский, 2007а], что замеченное в ней «особое — в свете наполеоновской темы — звучание фамилии слуги Федора Павловича Карамазова, Григория, — Кутузов, заставляет наконец обратить внимание и на фамилию капитана Снегирева, через знаменитое державинское стихотворение напрямую связывающую своего носителя с Суворовым. Эти военные фамилии и звания в романе, очевидно, составляют какой-то сюжет и требуют своей интерпретации» [Касаткина, 2007, с. 8].

разыграть шутовское представление и вдоволь поюродствовать на публику, следуя суворовской легенде, соскальзывающей в анекдот.

Наполеон же, в отличие от служилых людей Суворова и Кутузова, использовал армию и религию в качестве инструмента для захвата, удержания и умножения личной власти. Неслучайно среди верующих христиан Испании, России и ряда других стран он получил прозвище «антихрист»⁴². В «Братьях Карамазовых» антихристово начало Смердякова проявляется уже в истории его появления на свет: он родился в тот самый день, когда похоронили шестипалого младенца — сына слуги Григория, названного им «драконом» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 89]. Это совершенно явно отсылает к книге Откровения Иоанна Богослова, в которой говорится, что дракон передал свою силу, престол и великую власть зверю, которому также были даны уста, «говорящие гордо и богохульно» (Отк. 13:5).

Нечаянный свидетель тирады о Наполеоне в главе «Смердяков с гитарой» — Алеша Карамазов — в следующей главе «Братья знакомятся» вновь слышит о знаменитом имени, но уже от брата Ивана. Иван Федорович спрашивает его: «Отвечай: мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о любви к Катерине Ивановне, о старике и Дмитрие? О загранице? О роковом положении России? **Об императоре Наполеоне?** Так ли, для этого ли?

— Нет, не для этого.

— Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 212].

Иван ставит разговор о Наполеоне в один ряд с роковым положением России и заграницей, но, тем не менее, как будто бы не желает об этом говорить именно с Алешей. Однако несколькими страницами ранее о загранице, роковом положении России и об императоре Наполеоне говорил в меру своего понимания «ученик» Ивана — Смердяков. Зачастую одни персонажи в романах Достоевского явно проговаривают самые сокровенные мысли других героев, те их заветные желания и идеи, которые сами эти герои публично сформулировать и реализовать не смеют, придают их теоретическим построениям логическую завершенность. Интерес Ивана Карамазова к Наполеону, о котором он говорит лишь вскользь, в данном случае примитивизируется Смердяковым: «хорошо кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе».

⁴² О восприятии Наполеона современниками, как «антихриста» см.: [Медников, 2012, с. 299], [Мельникова, 2012, с. 74–75].

Из вопросов Ивана, обращенных к Алеше, не вполне понятно, о каком именно Наполеоне он «не желает» говорить, хотя в указателе имен Полного собрания сочинений в 30 томах это упоминание и отнесено к имени Наполеона I [Достоевский, 1972–1990, т. 17, с. 469]. Наполеон III, который на тот момент правил Францией, и над полицейским режимом которого иронизировал в монастыре Петр Александрович Миусов [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 62], несомненно, приковывал к себе внимание в середине 1860-х годов (именно тогда происходит действие романа «Братья Карамазовы») многими событиями: экономическим кризисом во Франции, мексиканской авантюрой, потворством усилению Пруссии, даже публикацией на русском языке его сочинения «История Юлия Цезаря» и др. Двусмысленность относительно «императора Наполеона» в словах Ивана может объясняться и тем, что оба они являлись для Достоевского выразителями одного начала, представителями «неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность» [Достоевский, 1972–1990, т. 21, с. 107].

Предвечные вопросы Иван Карамазов попытался разрешить в своей поэме о Великом инквизиторе, в которой девяностолетний кардинал преклоняется перед мудростью дьявола, в трех вопросах которого Христу была «как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 230]. Еще В.В. Розанов отмечал, что поэма не могла быть написана ранее XIX столетия: «Пятнадцать веков минувшей истории здесь названы потому только, что самый разговор Инквизитора с Христом представляется происходящим в XVI столетии; но он писался в XIX в., и, если бы возможно было сделать это без грубого нарушения правдоподобия, Инквизитору следовало бы согласиться на все девятнадцать веков: все, о чем он говорит далее и на что указал словами — “это не могло быть видно тогда”, — обнаружилось окончательно только в наше, текущее столетие, и никаких даже предвестников этого не было еще в эпоху, когда происходила описываемая сцена» [Розанов, 1996, с. 74]. Действительно, место и время, а также историческая обстановка в поэме, весьма условны. В картине инквизиции в Испании XVI века, в монологе старого кардинала, созданных воображением Ивана, проступают линии мирового исторического развития до и после пришествия Христа, остро ставятся вопросы о конечных целях этого развития.

Кардинал обвиняет Христа в том, что Тот не поддался третьему искушению дьявола в пустыне, и не взял меч и порфиру кесаря, чтобы объединить все народы в единую земную империю, разрешив тем

самым вековечную тоску по всеединству, охватившую их со времен Вавилонского столпотворения⁴³. «Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 235]. В черновых набросках к роману в числе великих завоевателей также был упомянут правитель гуннов Аттила (V в.): «Потребность соединиться в одно: Чингис-ханы, Тимуры, Аттилы, Великая Рим<ская> империя, которую Ты разрушил, ибо разрушил ее Ты, а не кто иной» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 235].

Понятно, что католический первосвященник — плод автора XIX века; в его монологе затрагиваются исторические противоречия, которые раскрылись лишь после ужасов Великой французской революции, уже в наполеоновскую эпоху. Век бесчинства свободного от совести ума и позитивистской науки, век атеизма и возвеличения рационалистического идеала человека породил непокорных и свирепых бунтовщиков с «гордостью ребенка и школьника», которые, ниспровергнув храмы и залив кровью землю, догадались, наконец, что «хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 233]. Период смятения и богохульства, то есть ничем не ограниченной свободы *многих*, сменился периодом произвола *одного*, деспотизмом великого властителя, которому в отчаянии поклонилось миллионное стадо, всецело уверовав в правоту его *тайны*.

Неудивительно, что старый инквизитор говорит об азиатских властителях, как о восточных «наполеонах». Сравнение Наполеона с Аттилой, Чингисханом, Батыем и Тамерланом было общим местом в антибонапартистской литературе еще в период его правления. Швейцарский генерал Ф.С. Лагарп писал своему бывшему воспитаннику Александру I о Наполеоне: «Оставьте надежду на мир в Европе. Ваш противник Наполеон никогда не откажется от своих гигантских пла-

⁴³ О роли этого дьявольского искушения в жизни Наполеона см.: [Подосокорский, 2023с, с. 85].

нов. Он слишком далеко зашёл, чтобы отступить. <...> Если Наполеон расширяет свои владения за счёт союзников, делайте то же самое. Ганнибал у ворот, и этот Ганнибал хочет стать императором Запада и Востока, халифом христиан и царём земли — Чингиз-ханом» [Александр I. Личность и время, 2022, с. 84]. «Атиллою [так в тексте! — *Н.П.*] новейших времен» называл Наполеона и сам император Александр I в письме к принцу Карлу-Юхану от 19 сентября 1812 года [Айрапетов, 2017, с. 292].

Г.Р. Державин в «Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из отечества» (1813) сравнил Наполеона с Тамерланом:

Какая честь из рода в род
России, слава незабвенна,
Что ей избавлена вселенна
От новых Тамерлана орд!
[Державин, 1864–1883, т. 3, с. 153].

Н.М. Карамзин в стихотворении «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814) также писал о Наполеоне:

Ничто Атилы, Чингисханы,
Ничто Батыи, Тамерланы
Пред ним в свирепости своей.
Они в степях образовались,
Среди рыкающих зверей,
И в веки варварства являлись, —
Сей лютый тигр, не человек,
Явился в просвещенный век.
[Карамзин, 1966, с. 301].

Российская пропагандистская брошюра с красноречивым названием «Наполеон с причетом своим, или Характеристическое и биографическое описание властителя Франции и пресловутых его братьев, гражданских и военных чиновников, герцогов, маршалов и генералов, имевших участие и действие при вторжении Наполеона в Россию 1812 года» (1813) начиналась с подобного сравнения: «Сколько ужасных воспоминаний соединяется при одном имени *Наполеона*, нареченного рабами его *великим, мудрым*. Великие дела его властолюбия и жестокости и та мнимая мудрость, или тонкие обманы лживой его политики, несравненны с великими делами образцов его Александра Македонского, Нерона, Калигулы, Атилы, Тамерлана и подобных би-

чей человечества. Непросвещенные и просвещенные народы видели в сих тиранах своих надменных завоевателей, а подданные Государей, упоенных честолюбием и занятых славою, которой они жертвовали спокойствием и благоденствием своих мирных подданных. Наполеон, превосходя сих тиранов древних веков в мерах жестокости, честолюбия и низости души, и для покоренных им народов (под видом распространения своего благоденствия и человеколюбия) и для подданных (под видом прославления *вверяемых* ему Провидением народов) — есть губитель и злодей» [Наполеон с причетом, 1813, с. 1–2].

В опубликованном в 1814 году в Москве «Собрании стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» французский император многократно уподоблялся Аттиле [Собрание стихотворений, 2015, с. 66, 69, 70, 73, 102, 117, 353, 356, 391], Чингисхану [Собрание стихотворений, 2015, с. 102, 323, 391], Батыю [Собрание стихотворений, 2015, с. 110, 184, 356] и Тамерлану [Собрание стихотворений, 2015, с. 110, 391]. Такими же сравнениями осыпали Наполеона и в Европе. Сборник анекдотов «Napoléoniana ou recueil d'anecdotes, saillies, bons mots, réparties, etc., pour servir à l'histoire de la vie de Buonaparte», вышедший во Франции в 1814 году и составленный противником Бонапарта Ш.М.Ф. де Ламетом, открывался портретом Наполеона, под которым находилась эпитафия:

По образцу Атиллы и самых страшных тиранов,
я возжелал завоевать оба полушария,
и что же мне осталось — лишь кусочек земли
[Голубков, 2022, с. 145].

А 19 марта 1815 года (всего за день до триумфального возвращения Наполеона в Париж в период т.н. Ста дней) в газете «Журналь де деба» появилась заметка Бенджамена Константа против «людоеда Бонапарта», в которой говорилось: «На стороне короля — конституционная свобода, безопасность, мир; на стороне Бонапарта — рабство, анархия и война <...>. Он — Аттила, он — Чингисхан, только более страшный и отвратительный» [Троицкий 2020, т. 2, с. 389].

Похожий упрек в адрес современных, цивилизованных кровопроливцев, которые уже поэтому хуже Аттил древности, что многое сознают, содержится и в «Записках из подполья» Достоевского: «Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам всё наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка — вековечный союз. Вот вам, нако-

нец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случилось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? — сами решите» [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 112].

Как пишет историк Н.А. Троицкий: «После Тильзита Наполеон, по выражению Н.А. Полевого, “забыл, что есть же всему предел”, и с высоты, казалось, недостижимого, но им достигнутого величия посчитал возможным, как он заявит своим сенаторам, “обеспечить за Францией господство над всем светом”, вознамерился, говоря стихами В. Гюго,

Весь мир одушевить Парижем,
В Париже воплотить весь мир.

В беседах с Э. Лас-Казом на острове Святой Елены Наполеон так изложил свой план: “Вся Европа составила бы один народ, одно семейство. Везде были бы одни законы, одни деньги, одна мера весов. Я бы потребовал, чтобы не только моря, но и все реки были открыты для всеобщей торговли, чтобы войска всех держав ограничились одной Гвардией Государей⁴⁴. Своего сына я сделал бы соцарствующим императором. Кончилось бы мое диктаторское правление и началось бы конституционное. Париж стал бы столицей мира”» [Троицкий, 1994, с. 153].

По мысли главного идеолога семьи Карамазовых, наполеоны и чингисханы были призваны исправить «ошибку» Христа, и поработить народы, чтобы дать им «всемирный покой и счастье». Великий

⁴⁴ Как тут не вспомнить Смердякова, желавшего уничтожения всех российских солдат.

инквизитор стремится пройти наполеоновский путь с другого конца. Если Наполеон, получивший светскую власть, возмечтал о власти духовной, то католический первосвященник наоборот, имея власть духовную, желает еще и власти кесаря.

Какие цели преследует автор поэмы Иван Карамазов? Его философия — это философия революционера, как и философия Раскольникова. О «Наполеоне, Перикле, предводителе русского восстания» Достоевский думал и во время переработки повести «Двойник» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 434] и позднее. Чтобы выдвинуться на первый план из безвестности, достигнуть абсолютной власти в условиях кризиса монархической России, необходим был слом старого порядка, всплеск анархии и революционного террора, после которого общество ощутило бы сильную руку единоличного деспота.

Европа для Ивана, по его собственному признанию, — «кладбище» дорогих ему «покойников» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 210], один из которых — Наполеон. Мистик Иван Федорович Карамазов мечтает возродить дух Наполеона, императора-пророка, законодателя и полководца, который, снова пронесся бы по земле в новом обличье, чтобы реализовать наконец давнюю мечту человечества о всеединстве. При этом сам Иван не решается сделаться «русским Бонапартом», не верит в силу национальных корней и ожидает спасения России от Запада. Неслучайно прокурор отметил в его характере воплощение нашего «европеизма» [Достоевский 1972–1990, т. 15, с. 128]. Потому-то его, «второго Чаадаева», так и раздражает комическое западничество учащего французские вокабулы Смердякова, который «Россию проклинал и над нею смеялся», «мечтал уехать во Францию, с тем чтобы переделаться во француза», сетуя, что «на это недостает ему средств», «никого не любил, кроме себя, уважал же себя до странности высоко», а «просвещение видел в хорошем платье, в чистых манишках и в вычищенных сапогах» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 164]. Иван же в тайне и сам хотел уехать в Европу, прикоснуться ближе к плодам западной цивилизации и европейского просвещения, но выглядеть это, по его мнению, должно было более красиво и утонченно, не по-смердяковски.

Коля Красоткин как маленький Наполеон

Есть в романе еще одно упоминание Наполеона, связанное с образом тринадцатилетнего подростка Коли Красоткина. В разговоре с Алешей Карамазовым он цитирует слова Наполеона: «Если я о Татьяне, то я вовсе не за эманципацию женщин. Я признаю, что женщина есть

существо подчиненное и должна слушаться. Les femmes tricotent [дело женщины — вязанье (*франц.*)], как сказал Наполеон, — усмехнулся почему-то Коля, — и по крайней мере в этом я совершенно разделяю убеждение этого псевдовеликого человека. Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества?» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 501].

В художественных произведениях писателя это один из редких случаев, когда герой непосредственно цитирует Наполеона⁴⁵, а не его критиков или почитателей; и это тем более важно, так как цитатой этой (и тем, что с ней связано) фактически завершается многолетняя наполеоновская легенда, создаваемая Достоевским почти всю его творческую жизнь. Как отмечает Т.А. Касаткина: «Цитата для Достоевского — род заклинания, которым он “вызывает”, словно духов, “приводит” в свой текст чужие образы» [Касаткина, 1997, с. 241]. Вызывание в книге «Мальчики» с помощью цитаты *духа Наполеона* по-новому ставляет взглянуть и на образ Коли Красоткина в романе.

Прежде всего, примечательно, что Красоткин вспоминает о Наполеоне по поводу того, «почему Татьяна не пошла с Онегиным». В речи на пушкинском празднике 1880 года Достоевский представил Татьяну как «тип твердый, стоящий твердо на своей почве», сказав, что «она глубже Онегина и, конечно, умнее его» [Достоевский, 1972–1990, т. 26, с. 140]. В романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин показал удивительную встречу Татьяны с Наполеоном в виде чугунной куклы «под шляпой с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом», стоящей в кабинете ее возлюбленного. Это место седьмой главы романа привлекло особое внимание автора «Карамазовых», сказавшего в речи о Пушкине следующее: «В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее [Татьяну] посетившею дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недостижимой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете, она разгля-

⁴⁵ В черновых набросках к роману «Братья Карамазовы» Достоевским был также записан известный афоризм: «Grattez le Russe — trouverez le tartare» [«Поскоблите русского — найдете татарина» (*франц.*)] [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 203]. Здесь нет необходимости подробно говорить о значимости этого афоризма для творчества писателя и его последнего романа (татары относятся к тюркским народам, а фамилия «Карамазов» имеет в основе тюркский корень «кара» (черный), но стоит заметить, что авторство этих слов обычно приписывается Наполеону Бонапарту [Троицкий, 2020, т. 2, с. 123], [Долинин, 2020, с. 72–73].

дывает его книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и “нравственный эмбрион” останавливается наконец в раздумье, со странною улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут:

Уж не пародия ли он?

Да, она должна была прошептать это, она разгадала» [Достоевский, 1972–1990, т. 26, с. 141]. Пушкинская героиня нашла объяснение мучившей ее тайне: «глядящий в Наполеоны» Евгений (Достоевский ранее называл Онегина «типом историческим» [Достоевский, 1972–1990, т. 19, с. 10]) вмиг представился ей такой же чугунной куклой, холодной и бесстрашной, пародией на другую, чуждую ей натуру. Широко известно отношение самого Наполеона к женщинам, который не терпел их малейшей самостоятельности и свободомыслия. В романе Достоевского «неисправимый социалист» Коля Красоткин есть также своего рода *пародия на Наполеона*. Он, к примеру, совершенно разделяет убеждения французского императора (и в какой-то мере Онегина) относительно «женского вопроса», то есть перенимает от него деспотическое к ним (женщинам) отношение. «Главное, был он очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 463]. В этом смысле Коле удается то, что не удалось подлинному Наполеону, который не имел сколь-либо сильного влияния на Madame Mère, даже будучи императором Франции (Летиция Бонапарт даже отказалась участвовать в церемонии коронации Наполеона).

Красоткин соглашается с Наполеоном и в другом. В 30-томном Полном собрании сочинений Достоевского слова Коли о бегстве в Америку прокомментированы следующим образом: «Здесь, вероятно, имеется в виду роман Н.Г. Чернышевского “Что делать?”, один из главных героев которого, Лопухов, эмигрирует в Америку» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 585]. Думается, что, помимо этого, слова Коли имеют и другое значение: отказываясь бежать в Америку, Красоткин соотносит себя не только с Лопуховым, но и с Наполеоном, который после своего второго отречения имел план бегства в Америку. Главный камердинер Наполеона Луи-Жозеф Маршан вспоминал в своих мемуарах, что еще в Ньоре Наполеон заявил: «Я... сяду на первый же корабль, который найду, и отправлюсь в Америку, а уже потом все остальные мои люди могут добраться туда вслед за мной и присоединиться ко мне» [Маршан, 2003, с. 310]. С.Н. Смарагдов описал это следующим образом: «<...> потеряв всякую надежду, Наполеон снова отрекся от престола

в пользу сына своего, 10 июня, и удалился из Мальмезона в Рошфор, в намерении отправиться в Америку. Но как английские крейсера не допустили его выйти из рошфорской гавани, то он вступил, по предложению капитана Майтленда, на английский корабль *Беллерофон* и объявил, что он поручает себя защите английских законов и намерен жить впредь в Англии, как частный человек. Кто мог положиться на слово Наполеона? Благо Европы требовало строгости: потому союзные монархи отправили его на остров св. Елены» [Смарагдов, 1844, с. 558].

Очевидно, что Коля Красоткин солидарен с Наполеоном не только в отношении к женщинам, но он готов поставить себя на место Наполеона и в момент после «Ватерлоо». План бегства в Америку является последней надеждой для терпящих окончательное поражение наполеонов, последним их планом спасения в трагической ситуации после внутреннего «Ватерлоо». В Америку предлагал бежать Раскольникову Свидригайлов [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 373]. В Америку, как к последнему пристанищу перед своим концом, устремляет свои помыслы и Иван Карамазов. Он говорит Алеше: «А я тебе, с своей стороны, за это тоже одно обещание дам: когда к тридцати годам я захочу “бросить кубок об пол”, то, где б ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобою... хотя бы даже из Америки, это ты знай» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 240]. Говоря о том, что «и у нас можно много принести пользы для человечества», Коля считает, что именно в России возможна наполеоновская деятельность всемирного масштаба.

Стоит отметить и некоторые общие моменты в школьном периоде Красоткина и юного Бонапарта. Когда Коля стал ходить в школу, а потом и в прогимназию, другие школьники стали над ним насмехаться и дразнить, «но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, “ужасно сильный”, как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе, был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики, и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданеллова» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 463]. К этому следует добавить, что Красоткин был единственный в классе, кто знал, кем была основана Троя. Об основателях Трои он вычитал у Смарагдова (в «Руководстве к познанию древней истории для средних учебных заведений» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 581]). В черновых набросках к роману Достоевским было также отмечено признание Коли: «Я в географии Иванова (учителя) собью. Из арифметики первый» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 315]. А вот описание молодого Наполеона, сверстника Красоткина, в период обучения в Бриеннском военном училище, сделанное ака-

демиком Е.В. Тарле: он «смотрел на всех без почтения, без приязни и без сочувствия, очень в себе уверенный, несмотря на свой малый рост и малый возраст. Его пробовали обижать, дразнить, придиратся к его корсиканскому выговору. Но несколько драк, яростно и не без успеха (хотя и не без повреждений) проведенных маленьким Бонапартом, убедили товарищей в небезопасности подобных столкновений. Учился он превосходно, прекрасно изучил историю Греции и Рима. Он увлекался также математикой и географией. Учителя этой провинциальной военной школы сами не очень были сильны в преподаваемых ими науках, и маленький Наполеон пополнял свои познания чтением. Читал он и в этот ранний период и впоследствии всегда очень много и очень быстро» [Тарле, 1957–1962, т. 7, с. 25–26].

Известно, что Наполеон Бонапарт начал свою военную карьеру со службы младшим лейтенантом артиллерийского полка. Артиллерийское дело со временем стало его излюбленной военной специальностью. Как пишет А.З. Манфред: «Начальник артиллерийской школы в Оксонне, которому подчинялась и артиллерийская часть гарнизона, барон Жан-Пьер дю Тейль сумел заметить способности Бонапарта и в 1788 году назначил его, единственного из младших лейтенантов, членом специальной комиссии, на которую было возложено выяснить лучшие способы бомбометания» [Манфред, 1998, с. 16]. Под Тулоном в 1793 году Бонапарт особо отличился как артиллерист, и даже получил прозвище «капитан Пушка» [Троицкий, 2020, т. 1, с. 87].

Коля Красоткин также изображен в книге «Мальчики», как «маленький артиллерист». В доме Снегиревых он демонстрирует искусство своей стрельбы из «бронзовой пушечки на колесках», которую выменял у чиновника Морозова на книжку «Родственник Магомета или целительное дурачество», и рассказывает о собственном способе составления пороха [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 493–494]. В главе «Детвора» автором подробно описано то, как Коля обучал подопечных «птенцов», с которыми и прежде любил «играть в солдаты» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 467], основам артиллерийского дела: «Всех убьет, только стоит навести, — и Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат. Дети слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их воображение, что бывает откат» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 469]. Таким образом, бронзовая пушечка на колесках является в тексте еще одной исторической реалией, при помощи которой формируется дополнительный наполеоновский сюжет, не повторяющий реальную историю, но переосмысляющий ее. Противоборство Илюши Снегирева с деспотизмом Красоткина

стало для последнего «Тулоном наоборот», в финале поединка двух воль Коля помирился со своим бывшим не-приятелем и добровольно отдал ему всю свою артиллерию. Намёком на то, что это был именно «Тулон», возможно, является рана, нанесенная Коле детским перочинным ножичком в бедро: во время осады Тулона офицер артиллерии Наполеон Бонапарт также получил знаменитое штыковое ранение в бедро. Слуга Наполеона Констан Вери вспоминает в своих мемуарах: «Именно во время той осады Тулона он [Наполеон] был повышен в должности командира батальона до звания полковника, вследствие блестящей операции против англичан, во время которой он получил штыковую рану в бедро. Он часто показывал мне шрам от этого ранения» [Наполеон. Годы величия, 2002, с. 155–156].

Любопытно отметить в числе прочих сходств Красоткина с великим полководцем серый цвет глаз и малый рост. «Серые, небольшие, но живые глазки [Коли] смотрели смело и часто загорались чувством» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 478]. А вот описание глаз Наполеона, оставленное его секретарем Меневалем: «Серые глаза с пронизывающим взглядом были удивительно подвижными» [Наполеон. Годы величия, 2002, с. 57]. Автор также с долей юмора наделил Красоткина «малым ростом» Наполеона: «Главное, его мучил маленький его рост, не столько “мерзкое” лицо, сколько рост. У него дома, в углу на стене, еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которою он отметил свой рост, и с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться: на сколько успел вырасти? Но увы! выросал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 478].

Разделяющий социалистические и революционные идеи Раkitина, Коля часто ведет себя по отношению к детворе, как деспот, который узурпировал право голоса (не зря он в эпилоге требует от Карташова не вмешиваться в разговор со своими глупостями) и право истины (никому кроме Коли не позволено рассуждать «о таких исторических событиях, как основание национальности» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 497]). Коля всегда готов предпринять решительный и смелый шаг в жажде славы и подвигов. Думается, в одном красноречивом признании Красоткина выражается суть военной психологии Наполеона, которая в конечном итоге и привела знаменитого полководца к поражению: «Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки» и чуть далее: «Я иду сам по себе, потому что такова моя воля... И почему ты знаешь, я, может, вовсе не мириться иду? Глупое выражение» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 472].

Прежний замысел Достоевского написать роман о детях и о героеребенке, а также о «заговоре детей составить свою детскую империю» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 438] лишь частично воплотился в последнем его романе. В книге «Мальчики», целиком посвященной детям, читатель увидел лишь «ребенка-императора» (в лице Коли Красоткина) без империи, хотя и исполненного сознания собственного величия. Автор знакомит читателя с образом героя-ребенка, когда культ Красоткина в детской среде уже сложился. Илюша же и вовсе слушал его «как Бога» и лез ему подражать [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 479]. У него есть и личный «адъютант» Смуров, который, как говорит о нем Коля: «всегда был мне предан» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 480]. От других маленький Наполеон требует рабского повиновения, хочет выкурить «вольный душок»; и сам признается, что всю жизнь не может избавиться от «подлого самовластья» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 503]. Таким образом, Достоевский в финале своей наполеоновской легенды показал, насколько глубокие корни пустил наполеонизм в России, проникнув даже в детскую среду.

Замечательно, что у всех трех непосредственных упоминаний Наполеона (Смердяковым, Иваном и Красоткиным) есть один свидетель — Алеша Карамазов — «воплощение народных начал наших» (согласно характеристике прокурора), чудака, носящий в себе сердцевину целого (по словам самого автора). Алеша в романе как бы сталкивается с тремя видами наполеоновских искушений: раболепным преклонением перед Наполеоном, цивилизацией западной Европы и французской нацией (вариант Смердякова); низведением Спасителя человечества до императора Наполеона (искушение Ивана); желание самому захватить «слишком видный жребий» и стать Наполеоном (выбор Красоткина). По сути, все это — одно искушение, главным проводником которого в романе является Иван Федорович Карамазов. Смердяков и Красоткин лишь развивают его мысли. Неслучайно Иван Федорович называет Смердякова «передовым мясом» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 122], точно так же, как и Наполеон называл «пушечным мясом» своих солдат [Тарле, 1957–1962, т. 7, с. 152]. Коля Красоткин также повторяет некоторые аргументы Ивана относительно мирового порядка и всеобщего бунта: например, оба вспоминают в беседе с Алешей известное высказывание Вольтера: «Если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 213, 499, 503]. В Вольтере и Наполеоне Иван видит своих союзников и предтеч по бунту против несправедливости Божьего мира, но этот бунт в его сознании оборачивается лишь новой всемирной тиранией. Как писал В.О. Ключевский: «Наполеон — политический Вольтер не более, как и

Вольтер — литературный Наполеон, тоже не более. Оба — люди, знавшие, что они начинают, и не знавшие, чем кончат» [Ключевский, 1993, с. 60]. Сам же Наполеон по этому поводу говорил: «Люди полезны своими идеями, но идеи сильнее самих людей» [Троицкий, 1994, с. 172].

Чуткий и внимательный Алексей Карамзов не мог забыть о трех этих искушениях, объединение которых воедино, надо полагать, и составляет такое явление, как наполеонизм.

Легенда о Суворове: от «Двойника» к «Братьям Карамзовым»

Как уже говорилось выше, генералиссимуса А.В. Суворова Достоевский относил к числу наиболее очевидных примеров лучших представителей русского народа, подлинных героев, которых таковыми считает сам русский народ. Геройство Суворова — это геройство служения, за которым стоят многочисленные славные дела — военные победы, ставшие следствием побед нравственных. Как писал еще Г.Р. Державин:

Суворов! страсти кто смирить свои решился,
Легко тому страны и царства покорить,
Друзей и недругов себя заставить чтить
[Державин, 1864–1883, т. 1, с. 711].

Ф.М. Достоевский проникся интересом к суворовской легенде с раннего детства. К.В. Мочульский отметил автобиографический характер следующего наброска Достоевского к его неосуществленному замыслу «Житие великого грешника» (1869): «Он ужасно много читает (Вальтер Скотт и пр.). Он сильно развит и много кое-чего знает. Гоголя знает и Пушкина. Всю Библию знал. Непременно о том, как действовало на него Евангелие. Согласен с Евангелием. Чтение о Суворове. Арабские сказки. Мечты» [Мочульский, 1995, с. 223]. В комментарии к этой записи в Полном собрании сочинений Достоевского в 30 томах был очерчен возможный круг чтения писателя о Суворове⁴⁶. Его

⁴⁶ «Трудно сказать, какую именно из вышедших в первой трети XIX в. книг о Суворове могли читать в доме Достоевских. Может быть, это были издания типа: <Ф. Антинг>. Победы графа Александра Васильевича Суворова-Рымникого, или Жизнь его и военные деяния..., чч. 1–4. Пер. с франц. Ф. Бунакова. М., 1809; История ге-

можно существенно расширить, поскольку к середине XIX века литература, посвященная Суворову, уже была довольно значительной⁴⁷.

Показателен и ряд, в который заключено «чтение о Суворове» — уже из него видно, что фигура прославленного генералиссимуса в сознании Достоевского относилась к области пересечения исторического, сказочного, литературного, священного и, кроме того, глубоко личного, мечтательного. Особо сильное впечатление на писателя должна была произвести суворовская манера общения с людьми. Как писал о полководце его адъютант и биограф Е.Б. Фукс: «Странности, особенности, или так называемые причуды, делали Князя загадкой, которая не разрешена еще и поныне. <...> Всегда поражало, изумляло меня, как человек, наедине умнейший, ученейший, лишь только за порог из своего кабинета, показывается шутом, проказником, или, если смею сказать, каким-то проказенным. Он играл с людьми комедию, и на сцене резвился, а зрители рукоплескали» [Фукс, 1827, с. 25–26].

нералиссимуса, князя Итальянского, графа Суворова-Рымнического, от самого начала вступления его в службу до его кончины... ч. 1–2. М., 1812; Собрание писем и анекдотов, относящихся до жизни Александра Васильевича, князя Итальянского, графа Суворова-Рымнического... Изд. 2-е. М., 1811; Анекдоты князя Итальянского, графа Суворова-Рымнического. Изданные Е. Фуком. СПб., 1827. Впрочем, Достоевскому могли быть известны некоторые посвященные Суворову публикации и труды, относящиеся ко времени его работы над «Житием» (письма полководца и воспоминания о нем — «Русская беседа», 1860, кн. I, отд. IV, стр. 77–80; *РА* [«Русский Архив»], 1866, № 7, стлб. 929–1030; 1867, стлб. 487–489, 525–538, 1225, 1226, 1238–1250, 1290, 1539, 1540, 1549–1551; 1868, стлб. 1865–1866; 1869, № 2; книги — В. Новаковский. Биографические очерки. П. А.В. Суворов. Изд. 2-е, испр. СПб., 1863; Русские люди. Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями, т. I. СПб. — М., 1866, стр. 173–296; Фр. фон Смитт. Суворов и падение Польши. Пер. с нем. Ч. 1–2. СПб., 1866–1867) и ко времени его молодости (письма и воспоминания — *PВ* [«Русский Вестник»], № 1–6; *М* [«Москвитянин»], 1842, №№ 4–6, 12, 1843, №№ 1–3, 8, 1844, №№ 1, 5–10, 1845, №№ 1, 5 и 6; книги — Н.А. Полевой. История князя Итальянского, графа Суворова-Рымнического, генералиссимуса российских войск. СПб., 1843; Биография Александра Васильевича Суворова, им самим писанная в 1786 году, сообщенная Д.П. Голохвастовым. М., 1848; Д.В. Давыдов. Встреча с великим Суворовым. В кн.: Сочинения Д.В. Давыдова. СПб., 1848, стр. 85–109)» [Достоевский, 1972–1990, т. 9, с. 520–521].

⁴⁷ См.: Обзор А.Г. Кавтарадзе «Суворов в отечественной историографии» в сборнике [Александр Васильевич Суворов, 1980].

Другой биограф полководца Н.А. Полевой также замечал: «Жизнь Суворова — Шекспирова драма, где от забавного чудный переход к высокому» [Полевой, 1904, с. 157].

Обсуждая в «Ряде статей о русской литературе» проект книги чтения для народа писатель, в числе прочего материала, выделил «анекдоты из жизни Петра Великого, Суворова, Наполеона» [Достоевский, 1972–1990, т. 19, с. 42]. Один из таких анекдотов Достоевский особо упомянул в октябрьской книжке «Дневника писателя» за 1876 год, когда коснулся фигуры генерала Черняева и событий в Сербии: «а что до политиков, то вспомнили бы они легенду о суворовской яме в Швейцарии, которую он велел выкопать, вскочил в нее и велел солдатам его засыпать землей, “коли уж не хотят его слушаться и идти за ним”. Солдатики-то расплакались, и его из ямы вытащили, и пошли за ним; ну, а из ямы, которую выкопала Черняеву в Сербии интрига, видно, вытащит Черняева весь народ русский» [Достоевский, 1972–1990, т. 23, с. 148].

Различного рода легенды и анекдоты использовались писателем и в построении его художественной реальности как частности, несущие в себе сердцевину целого. Одним ярким и необычным эпизодом может очерчиваться весь характер персонажа, с особенностями его поведения. Упомянутый выше анекдот можно рассмотреть как во многом задающий структуру образов героев писателя, связанных с суворовской легендой. Отмеченная Достоевским история применительно к его художественным произведениям трансформируется в некий поэтический прием, который условно можно назвать принципом «суворовской ямы». Суть этого принципа состоит в том, что герой, попавший в крайне неблагоприятные для него жизненные условия, надевает на себя маску шута по примеру великого Суворова и готов в любой момент сам себе выкопать могильную «яму», то есть еще более усугубить собственное положение, рискуя физическим и душевным здоровьем, в отчаянной попытке изменить отношение к себе окружающих и заставить их признать и разделить его правоту.

Этот принцип прыгающего в «яму» героя, который независимо от масштаба своей проблемы ощущает на себе тень суворовского величия, присутствует уже в творчестве Н.В. Гоголя. В поэме «Мертвые души» (1842) уличенный Чичиковым в плутовстве Ноздрев моментально загорелся воинственным пылом и полетел в бездну безумия, чтобы решительно выйти из патовой ситуации. «Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с чершневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит сво-

ему взводу: “Ребята, вперед!” какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, **все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело.** “Ребята, вперед!” — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит как пух на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку» [Гоголь, 2003–, т. 7, с. 83].

Подобный стиль поведения героев-шутов Достоевского, раскрывающий принцип «суворовской ямы», ярко выражен в «Братьях Карамазовых» в описании образа Федора Павловича Карамазова, который «всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть пред вами какую-нибудь неожиданную роль, и, главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе...» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 11]. На самом деле, эта «надобность» всегда заключалась в отстаивании собственной исключительности и, вместе с тем, в преодолении своей отверженности, непонятости другими.

В раннем творчестве Достоевского о Суворове вспоминает герой «Двойника» (1846) господин Голядкин, находящий утешение своим странностям в указании на пример чудачеств Суворова: «<...> но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Суворов пел петухом... Ну, да он там это всё из политики; и великие полководцы... да, впрочем, что ж полководцы? А вот я сам по себе, да и только, и знать никого не хочу, и в невинности моей врага презираю» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 152]. Упорство, с которым господин Голядкин настаивает на своей правоте, несмотря на многочисленные сигналы о неестественном и паранормальном ходе вещей в мире вокруг него, вырывает ему столь глубокую «яму», из которой он уже выбраться не может. Вместе с тем, в его видениях и внутренних диалогах зачастую всплывают литературные и исторические тексты, такие как, например, роман о похождениях Фоблаза Луве де Кувре [Подосокорский, 2009b] или Анекдоты о Суворове Е.Б. Фукса, которые придают этим видениям и диалогам дополнительную историко-культурную глубину.

В «Двойнике» пение петухом, прочно связанное героем с образом Суворова, инсценирующим таким образом свое помешательство, звучит на званом обеде у Берендеевых, на котором Антон Антонович Сеточкин, «старинный друг дома и крестный отец Клары Олсуфьевны, —

старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил веселые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слез целое общество...» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 130]. Примечательно, что старичок, поющий петухом в воспаленном сознании Голядкина, декламирует не стихи, а «вирши». Как писала О.Г. Дилакторская: ««Веселые вирши» в данном случае — тоже знак прошедшей эпохи» [Дилакторская, 1999, с. 213]. К этому выводу важно прибавить еще одно наблюдение: в собрании анекдотов о Суворове Е.Б. Фукса, где упоминается о том, что Суворов пел петухом⁴⁸, есть и такая история: «Некто вздумал назвать Суворова Поэтом. “Нет! извини, — возразил он, — Поэзия — вдохновение, а я складываю только — вирши”» [Фукс, 1827, с. 22].

Схожий прием конструирования своих фантазий в форме сочинения с прозрачными и полупрозрачными намеками на конкретные литературные и публицистические тексты использует и другой герой Достоевского с расстроенным сознанием — генерал Иволгин в романе «Идиот». В своей вымышленной истории о Наполеоне в 1812 году он задействует большое число самых разнообразных устных и письменных источников, одним из которых является знаменитая суворовская «Наука побеждать». Наполеон в рассказе Иволгина наделяется суворовскими чертами. В характеристике, которую он дает императору французов: «Взгляд, быстрота, удар», — очевидно, присутствует отсылка к трем суворовским принципам воинского искусства: «глазомер, быстрота, натиск» [Суворов, 1990, с. 369].

Сам генерал Иволгин, человек военный, надевает на себя маску шута и рассматривает свою текущую жизнь в качестве единой героической и поучительной истории, но которая может неизгладимо подействовать на современников лишь в нарочито сниженном, заостренно пародийном, анекдотическом виде. Характеристика, данная Суворову Е. Фуксом: «Мы все видим неутомимое его стремление быть героем и казаться чудаком» [Фукс, 1827, с. VII], может в некотором смысле пояснить образ поведения генерала Иволгина, героя Крымской войны, после какой-то внутренней катастрофы ощутившего разлад с действительностью [Подосокорский, 2009с, с. 151]. В отношениях с семьей

⁴⁸ «Подобно шуту Балакиреву, который был при Петре Первом и благодетельствовал России, кривлялся я и корчился. Я пел петухом, пробуждал сонливых, угомонял буйных врагов отечества. Если бы я был Цезарь, то старался бы иметь всю благородную гордость души его; но всегда чуждался бы его пороков» [Фукс, 1827, с. 78].

генерал зачастую действует по тому же принципу суворовской ямы, театрально накаляя обстановку в доме и требуя к себе повышенного уважения.

«Наука побеждать» А.В. Суворова должна была «читаться наизусть дежурным штаб-офицером перед строем, после каждого учения в присутствии генералитета и всех офицеров и повторяться с разъяснением ротными командирами, унтер-офицерами и капралами» [Суворов, 1990, с. 367]. Она была специально написана языком пословиц и поговорок. Как писал Н.В. Гоголь: «Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами» [Гоголь, 1937–1952, т. 8, с. 392]. Надо сказать, что Достоевский благоговел перед теми же пословицами, что и Суворов, употребляя в своих сочинениях пословицы, включенные в «Науку побеждать». Например, в «Дневнике писателя» за 1877 год им была употреблена пословица «ученье — свет, неученье — тьма» [Достоевский, 1972–1990, т. 25, с. 16], которая выполняет функцию наставления и в «Науке побеждать» [Суворов, 1990, с. 371].

Помимо этого, писатель активно использовал поговорки и высказывания самого Суворова, как например, запись, разделяющая в Записной тетради 1864–1865 годов мысли о Н.Н. Страхове и М.Н. Каткове: «Воняет, воняет! (поговорка Суворова)» [Достоевский, 1972–1990, т. 20, с. 200]. В «Необходимом литературном объяснении по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» им были перефразированы слова об удаче и уме, приписываемые А.В. Суворову: «Почему же нам-то удалось? Счастье что ли? Да ведь помилуйте: один год — счастье, другой год — вдвое более счастья, третий — еще больше, чем прежде, счастья: “воля ваша, нужно немного и ума” для такого постоянного счастья» [Достоевский, 1972–1990, т. 20, с. 58]⁴⁹.

В романе «Бесы» (1872) слова другого персонажа, имеющего военный чин, также могут быть прочитаны в контексте суворовских наставлений, изложенных в «Науке побеждать», где говорится: «Молись Богу! От Него победа. Чудо-богатыри! Бог нас водит — Он нам генерал!» [Суворов, 1990, с. 371]. Эта уверенность в том, что Бог является подлинным «генералом» — главнокомандующим русской армией, могла

⁴⁹ В комментарии к 20 тому академического ПСС Ф.М. Достоевского указан источник этой перифразы: «“Сегодня удача, завтра удача, помилуй Бог! Надобно же немного и ума!” (Полковой Н.А. История князя Итальянского, графа Суворова-Рымнического, генералиссимуса Российских войск. СПб., 1843, стр. 312)». [Достоевский, 1972–1990, т. 20, с. 295].

заставить «седого бурбона капитана» в «анекдотике» Петра Степановича Верховенского встать среди комнаты и громко произнести: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» [Достоевский, 1972–1990, т. 10, с. 180], то есть, если нет главы над всем, то нет и «головы» (капитан — от латинского «caput» — голова). О том, что писатель, работая над «Бесами», живо интересовался суворовской темой, красочно свидетельствует его рисунок в «Записной тетради № 6» начала 1870-х годов. Как отмечает К.А. Баршт, на нем «с редкой документальностью» изображен знаменитый «Чертов мост» в Альпах, через который с боем перешла русская армия под предводительством Суворова во время Швейцарского похода 1799 года [Баршт, 1996, с. 147]. Нарисованный Достоевским «Чертов мост», вероятно, должен был каким-то образом найти отражение в истории строительства железнодорожного моста Кирилловым.

О потомке полководца Суворова упоминается в «Подростке» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 166], причем даже потомок возникает в речи персонажа не в качестве конкретного лица, а как определенный тип чистого русского характера: «...да чуть ли это не князь Суворов был, Италийский, потомок полководца-то... Впрочем, нет, не Суворов, и как жаль, что забыл, кто именно, только, знаете, хоть и светлость, а чистый этакий русский человек, русский этакий тип, патриот, развитое русское сердце...» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 166].

В последнем романе писателя «Братья Карамазовы» суворовский след обнаруживает себя и в образе капитана Снегирева, фамилия которого, как уже говорилось, отсылает к стихотворению Г.Р. Державина «Снигирь». Однако напрямую с Суворовым капитан Снегирев ни разу в тексте не сравнивается, поэтому суворовская легенда затрагивает его лишь косвенно и побочно, не создавая вокруг этого персонажа дополнительный историко-мифологический сюжет, связанный с прославленным генералиссимусом.

Парадоксально, что все герои Достоевского, так или иначе связанные с Суворовым, гибнут (психически, физически, социально) в той яме, которую сами же себе и вырыли не столько своим мужеством (как Суворов), сколько своими пороками. Следуя за Суворовым в чудачествах, они не способны перенять его твердые религиозные и нравственные устои. Тем не менее, в их жизненной трагедии также находится место и долгу, и геройству, которые заметны при глубинном погружении в их личные истории.

Заключение

Итак, мы разобрали несколько произведений Достоевского, хронологически охватывающих практически весь период его творчества, показав, как исторические реалии (имена, числа, вещи, события, цитаты) в сложном сочетании друг с другом создают в тексте дополнительные измерения, в сюжетах которых причудливым образом взаимодействуют литературные персонажи и исторические деятели. Какие выводы можно из этого сделать?

Во-первых, история для Достоевского не сводится к одному только завершённому прошлому, но живо присутствует как действующий субъект и в настоящем, продолжая формироваться, меняться, осмысляться и влиять на происходящее, в том числе, и через искусство. По мнению писателя, яркие фигуры предыдущих веков, обладающие бессмертной душой, продолжают активно влиять на общество и после своей физической смерти: «Ну, кто бы мог подумать, что, например, Корнель и Расин отзовутся своим влиянием в такие странные и решительные минуты исторической жизни целого народа, что, казалось бы, и немисливо было сначала, что делать таким старым колпакам, как Корнель и Расин, в такие эпохи. Оказалось, что души-то и не умирают» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 78].

Во-вторых, история в сознании Достоевского всегда неотделима от судьбы конкретных человеческих личностей, носящих в себе *сердцевину целого*. В вере для писателя самым ценным, подлинным и репрезентативным была уникальная личность живого Христа, в истории же — трагические и сложные фигуры крупных исторических деятелей вроде Наполеона или Петра Великого. В последнем он видел загадочный пример того, на что может решиться человек: «лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. <...> Во всяком случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, когда он выживет себе полное убеждение и почувствует, что пора пришла, а в нем самом уже созрели и сказались новые силы» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 55].

В-третьих, огромное значение для писателя имела национальная история России, которая является органической частью всеобщей истории, но отнюдь не растворяется в ней: «Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем всё обратно» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 54].

Оторванность от родной почвы, веры и народа, презрение к России являются признаками саморазрушения и душевного распада его героев. Неслучайно в произведениях Достоевского столь часто упоминаются конкретные книги по российской истории, которые требуют к себе повышенного внимания читателя.

Назначение истории, как оно было сформулировано писателем еще в стихотворении «На первое июля 1855 года», состоит в том, чтобы рассказывать «священные дела» и при помощи «беспристрастного резца» создавать «светлый, ясный образ» родины [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 408]. Старец Зосима в своих поучениях утопически связывал историческое призвание русского народа с идеей служения и «подвигами просвещения и милосердия»: «Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немислимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш, и скажут все люди: “Камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла”» [Достоевский, 1972–1990, т. 14, с. 288].

В-четвертых, у каждого персонажа художественного мира писателя есть своя собственная *история*, в которой отражается весь исторический опыт человечества, как отражается мировой океан в капле воды. Своей историей персонаж Достоевского, как правило, рано или поздно делится с другими. Характерен в этом смысле диалог Мечтателя и Настеньки в романе «Белые ночи»:

«— <...> Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.

— Историю! — закричал я, испугавшись, — историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории...

— Так как же вы жили, коль нет истории?» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 110]. Жить без истории оказывается совершенно невозможно, ибо история и есть синоним самой жизни в ее динамике. Герой «Униженных и оскорбленных», являющийся альтер-эго самого Достоевского, так описывает Елене свое основное занятие: «И я объяснил ей сколько мог, что описываю разные истории про разных людей: из этого выходят книги, которые называются повестями и романами. Она слушала с большим любопытством» [Достоевский, 1972–1990, т. 3, с. 296]. Как отмечал еще В.И. Кайгородов, «герой Достоевского всегда в центре жизни, он в сущности и есть история, творец ее, а значит, и себя самого» [Кайгородов, 1980, с. 40].

В-пятых, серьезные философские размышления об истории зачастую прикрыты у Достоевского большой долей юмора героев-шутков

и едкой иронией героев-идеологов. Вот, к примеру, в какой форме в повести «Село Степанчиково и его обитатели» выражена мысль о том, кто и почему оказывается прославлен во всемирной истории:

«— <...> Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей да Александров Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоеует... Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита... Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории... да уж вместе и Цезарю!

— Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!

— Не пощажу дурака! — кричал Фома.

— И не щади! — с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший, — нечего их щадить; все они прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться! колбасники!» [Достоевский, 1972–1990, т. 3, с. 159]. За этим сумасбродным обвинением юродствующего Фомы, на самом деле, скрывается многовековая проблема отношения христиан к великим деятелям внехристианской истории, которая не имеет однозначного и простого решения. Вдохновлявший столь многих героев Достоевского Наполеон I, когда ему было одиннадцать лет, перестал, по его собственному признанию, считать себя искренне верующим христианином именно после того, как услышал в одной проповеди, что великий Цезарь будет вечно гореть в аду уже потому, что он жил до пришествия Христа и не отправлял христианских ритуалов [Кронин, 2008, с. 34]. Достоевский не избегает полностью моральной оценки личностей «особенно страшных кровопроливцев» (как их называет Раскольников), но и не ставит ее во главу угла, как Л.Н. Толстой.

В-шестых, дополнительные исторические сюжеты в произведениях писателя проникнуты игровым началом, хотя и не сводятся только к одной игре. На это обратил внимание еще К.Г. Исунов, который отмечает, что герой Достоевского «может имитировать в своем поведении историческую личность, “цитировать” в своей судьбе исторический сюжет, апеллировать к историческому факту и строить целые программы исторических аргументаций, может “сбежать” в историю до полного забвения настоящего, — в любом случае прошлое как осязаемая, плотно набитая событиями реальность, чрезвычайно важный компонент поведенческих детерминаций героя. Не составит большого труда показать, что в экспериментальных типах поведения (по авторскому определению: “шаг”, “проба”) герои Достоевского заняты тем, что сейчас называют историческими играми» [Исунов, 2010, с. 116].

В-седьмых, в основе всемирной истории у Достоевского всегда лежит история священная, над которой надстраивается история профанная, сугубо человеческая. Т.А. Касаткина пишет об этом следующее: «Достоевский говорит, в первую очередь, что человек не сводим ко всей совокупности своих проявлений, потому что сами эти проявления обретают истинный смысл лишь тогда, когда мы видим, *что именно* проявляется в человеке. Вне этого видения человеческого центра, того, чем человек является по замыслу и заданию, мы не способны правильно объяснить себе смысл его действий» [Касаткина, 2015, с. 11–12].

В-восьмых, благодаря Достоевскому всемирная история в нашем представлении также сильно изменилась и усложнилась: сегодня разговор о Наполеоне и его мифе (по крайней мере, в России) столь же невозможен без учета «Преступления и наказания» и других произведений Достоевского, сколь немислимы обращения к образу Ришелье без отсылки к романам А. Дюма или исследование личности Бориса Годунова без знания поэтических прозрений А.С. Пушкина. Достоевский, имя которого прочно вошло в учебники российской истории [Подосокорский, 2007b], изменил в мировой культуре и взгляд на человека вообще, который всегда находится в центре истории и больше не может жить сам по себе, полностью закрывшись от чужого страдания, не разрушив при этом себя. «Ни у кого, кажется, в истории мира не было такого отношения к человеку, как у Достоевского», — писал Н.А. Бердяев [Бердяев, 2016, с. 360]. «Он великий зачинатель и **предопределитель** нашей культурной сложности», — замечал относительно значения Достоевского для последующей истории Вяч.И. Иванов [Иванов, 1987, с. 402].

История для Достоевского — не некий обобщенный процесс, определяемый большими цифрами, статистически и отстраненно, но цепь «частных случаев» и конкретных судеб, через приобщение к которым только и можно увидеть ее подлинный ход и глубинный смысл. В этом он был гораздо ближе к Плутарху, чем к Шаррасу, хотя первый строил свои жизнеописания во многом на героических легендах и священных преданиях, а второй — на строгих, голых фактах и документах. Достоевский верил, что даже один человек, самый маленький и слабый, может в одночасье стать подлинным творцом истории (собственно такие разнообразные *истории* он и создавал как писатель и мыслитель), и что большая история абсолютно бессмысленна, если из нее исключается религиозное измерение, выражающееся не в постановлениях государственных и церковных институций, а в глубоко личных отношениях конкретного человека с Богом.

Как справедливо писал А. Штейнберг: «Если рассматривать весь жизненный путь Достоевского, то станет очевидно, что “наука”, в которой он молодым человеком рассчитывал преуспеть, была, прежде всего, философией всеобщей истории, которая объясняла бы появление, упадок и разрушение народов и империй. Художественное изображение с самого начала казалось Достоевскому наиболее полезным инструментом для того, чтобы проникнуть в тайну, ключ к которой могла дать история религии. Да, на первый взгляд может показаться, что все великие книги Достоевского имеют мало общего с какой бы то ни было “наукой”, ни с обыкновенной историей, ни с её метафизической интерпретацией. Однако взятые вместе, они предстают сознательной попыткой обратиться к одной и той же проблеме со многих сторон. Проблема эта была связана со значением исторической жизни, какой она предстала в России современникам Достоевского» [Штейнберг, 2017, с. 320–321].

Список литературы

1. Абрантес, 1835–1839 — [Абрантес, герцогиня] Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов: в 16 т. / пер. с фр. К. Полевого. М.: В Тип. Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1835–1839.
2. Аврамец, 1990 — Аврамец И.А. Оксюморонный принцип сюжетного построения новеллы Достоевского «Господин Прохарчин» // Литературный процесс: Внутренние законы и внешние воздействия. Труды по русской и славянской филологии (Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, II; Ученые записки Тартуского университета. Вып. 897). Тарту: Тартуский университет, 1990. С. 53–71.
3. Айрапетов, 2017 — Айрапетов О.Р. История внешней политики Российской империи. 1801–1914: в 4 т. М.: Кучково поле, 2017. Т. 1: Внешняя политика императора Александра I. 1801–1825. 608 с.
4. Акройд, 2017 — Акройд П. Ньютон: Биография / пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2017. 208 с.
5. Александр Васильевич Суворов, 1980 — Александр Васильевич Суворов: к 250-летию со дня рождения / редкол.: А.Г. Бескровный (отв. ред.), А.А. Преображенский; Ин-т истории АН СССР. М.: Наука, 1980. 280 с.
6. Александр I. Личность и время, 2022 — Александр I. Личность и время: из собрания Государственного Эрмитажа: каталог выставки, в Омском областном музее изобразительных искусств с 30 сентября 2022 по 30 июля 2023 года / ред. каталога выставки: О.А. Федосеенко; общ. науч. Ред.: М.Б. Пиотровский. СПб.: Славия, 2022. 199 с.

7. Александров, 1990 — *Александров М.А.* Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872–1881 годах // Достоевский Ф.М. в воспоминаниях современников: в 2 т. / сост. и коммент. К. Тюнькина. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 251–324.
8. Алексеев, 2017 — *Алексеев П.В.* Ф.М. Достоевский и кувшин Магомета // Имагология и компаративистика. 2017. № 7. С. 126–141.
9. Анненский, 1979 — *Анненский И.* Книги отражений / изд. подгот. Н.Т. Ашимбаева, И.И. Подольская, А.В. Федоров. М.: Наука, 1979. 679 с.
10. Арапов, 1814 — *Арапов П.Н.* Моя жертва Наполеону: Кривой коршун, притча, и Кузнецкой мост. М.: В тип. С. Селивановского, 1814. 8 с.
11. Арсентьева, 2005 — *Арсентьева Н.А.* «Крик осла» и «Локус Идиота»: размышления над межвузовским сборником научных трудов «Роман Достоевского «Идиот»: раздумья, проблемы» // Достоевский: Материалы и исследования. 2005. Т. 17. С. 376–398.
12. Бабель, 1937 — *Бабель И.* Ложь, предательство, смердяковщина // Литературная газета. 1937. № 5 (641), 26 января. С. 4.
13. Бабина, 2021 — *Бабина А.В.* Наполеон III: Триумф и трагедия. М.: Этерна, 2021. 896 с.
14. Байрон, 1981 — *Байрон Д.Г.* Собр. соч: в 4 т. / сост., вступ. стат. и общ. ред. Р.Ф. Усмановой. М.: Правда, 1981.
15. Баршт, 1996 — *Баршт К.А.* Рисунки в рукописях Достоевского. СПб.: Формика, 1996. 320 с.
16. Белинский, 1953–1959 — *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959.
17. Бенедиктов, 1939 — *Бенедиктов В.Г.* Стихотворения / вступ. статья, ред. и прим. Л.Я. Гинзбург. Л.: Сов. писатель, 1939. 336 с.
18. Беранже, 1979 — *Беранже П.-Ж.* Избранное. М.: Правда, 1979. 592 с.
19. Бердяев 2009 — *Бердяев Н.А.* Духи русской революции // Манифесты русского идеализма / сост. и коммент. В.В. Сапова. М.: Астрель, 2009. С. 671–705.
20. Бердяев, 2016 — *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского // *Бердяев Н.А.* Русская идея. Миросозерцание Достоевского. М.: Изд-во «Э», 2016. С. 311–510.
21. Беседы императора, 2001 — Беседы императора. Мысли Наполеона о Христе / пер., вступ. статья, ред. и коммент. Л.В. Гусевой. М.: АиФ-Принт, 2001. 237 с.
22. Библиотека Ф.М. Достоевского, 2005 — Библиотека Ф.М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание / отв. ред. Н.Ф. Буданова. СПб.: Наука, 2005. 338 с.
23. Бидерманн, 1996 — *Бидерманн Г.* Энциклопедия символов / пер. с нем. М.: Республика, 1996. 334 с.
24. Бланк, 2001 — *Бланк К.* Мышкин и Обломов // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения: сборник работ отече-

- ственных и зарубежных ученых / под ред. Т.А. Касаткиной. М.: Наследие, 2001. С. 472–481.
25. Боботов, 1998 — *Боботов С.В.* Наполеон Бонапарт — реформатор и законодатель. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, 1998. 336 с.
 26. Борисов, 1986 — *Борисов Ю.В.* Шарль-Морис Талейран. М.: Международные отношения, 1986. 320 с.
 27. Бэкон, 1962 — *Бэкон Ф.* Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические / пер. З.Е. Александровой; статья и примеч. Ф.А. Коган-Берштейн; 2-е изд. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 238 с.
 28. Вестник Европы, 1803 — Вестник Европы, издаваемый Николаем Карамзиным. Ч. VII. 1803. № 1. 333 с.
 29. Вестник Европы, 1805 — Вестник Европы, издаваемый Михаилом Каченовским. Ч. XIX. 1805. № 4. 346 с.
 30. Вигель, 2003 — *Вигель Ф.Ф.* Записки: в 2 т. М.: Захаров, 2003.
 31. Викторovich, 2023 — *Викторovich В.А.* Утраченная пьеса Достоевского «Мария Стюарт» (материалы к реконструкции замысла) // *Неизвестный Достоевский*. 2023. Т. 10. № 4. С. 55–101.
 32. Викторovich, 2024 — *Викторovich В.А.* Утраченная пьеса Достоевского «Борис Годунов» (источники, концепция) // *Неизвестный Достоевский*. 2024. Т. 11. № 1. С. 5–43.
 33. Волгин, 1993 — *Волгин И.Л., Наринский М.М.* «Развенчанная тень». Диалог о Достоевском, Наполеоне и наполеоновском мифе // *Метаморфозы Европы*. М.: Наука, 1993. С. 127–164.
 34. Волкова, 2016 — *Волкова Е.А.* Освещение основных проблем российской истории в публицистических сочинениях Ф.М. Достоевского // *Вестник Брянского государственного университета*. 2016. № 2 (28). С. 37–40.
 35. Время, 1861 — *Время*. Журнал литературный и политический. 1861. Ноябрь. 544 с.
 36. Вяземский, 1878–1896 — *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. князя П.А. Вяземского: в 12 т. / изд. графа С.Д. Шереметева. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1878–1896.
 37. Вяземский, 2003 — *Вяземский П.А.* Старая записная книжка. 1813–1877. М.: Захаров, 2003. 960 с.
 38. Галкин, 2001 — *Галкин А.Б.* Образ Христа и концепция человека в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения: сборник работ отечественных и зарубежных ученых / под ред. Т.А. Касаткиной. М.: Наследие, 2001. С. 319–336.
 39. Гачева, 2002 — *Гачева А.Г.* Философия истории Достоевского и русская религиозно-философская мысль // *Литературоведческий журнал*. 2002. № 16. С. 54–64.
 40. Гачева, 2021 — *Гачева А.Г.* Богословие Ф.М. Достоевского и проблема нравственного истолкования догмата в русской богословской и фи-

- лософской мысли XIX–XX вв. // Богословие Достоевского / отв. ред. Т.А. Касаткина. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 21–156.
41. Гейне, 1956–1959 — *Гейне Г.* Собр. соч.: в 10 т. / под общ. ред. Н.Я. Берковского, В.М. Жирмунского, Я.М. Металлова. М.: Худож. лит., 1956–1959.
 42. Гоголь, 1937–1952 — *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч.: в 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.
 43. Гоголь, 2003– — *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. М.: Наука, 2003– (издание продолжается).
 44. Голубков, 2022 — *Голубков А.В.* Vopartiana: анекдот о Наполеоне Бонапарте во французской культуре первой половины XIX века // Статьи о французской литературе. К 100-летию Л.Г. Андреева / отв. ред. О.Ю. Панова. М.: Литфакт, 2022. С. 143–152.
 45. Гончаров, 1998 — *Гончаров И.А.* Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 1998. Т. 4: Обломов: роман в четырех частях / текст подгот. Т.И. Орнатская; ред. В.А. Туниманов. 494 с.
 46. Гречаная, 2006 — *Гречаная Е.П.* Творец чужой славы: Анри де Латуш // Французская литература 30–40-х годов XIX века: «Вторая проза» / отв. ред. А.Д. Михайлов, К.А. Чекалов; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН. М.: Наука, 2006. С. 292–318.
 47. Григорович, 1988 — *Григорович Д.В.* Сочинения: в 3 т. / сост., подгот. текста и коммент. В. Некрасова. М.: Худож. лит., 1988.
 48. Гроссман, 1925 — *Гроссман Л.* Поэтика Достоевского. М.: ГАХН, 1925. 190 с.
 49. Гус, 1971 — *Гус М.С.* Идеи и образы Ф.М. Достоевского. 2-е изд. М.: Худож. лит., 1971. 592 с.
 50. Даль, 1863 — *Даль В.И.* Толковый словарь живаго и великорусскаго языка. М.: Тип. Лазаревского института восточных языков (А. Мамонтов), 1863. Ч. II. С. 629–1351.
 51. Даль, 1961 — *Даль В.И.* Повести. Рассказы. Очерки. Сказки / сост. Л.П. Козлова и В.П. Петушков. М.; Л.: Худож. лит., 1961. 463 с.
 52. Державин, 1794 — *Державин Г.Р.* Песнь Ея Императорскому Величеству Екатерине II, На победы графа Суворова-Рымникскаго 1794 года. СПб.: Тип. Корпуса чужестранных единоверцев, 1794. 12 с.
 53. Державин, 1864–1883 — *Державин Г.Р.* Сочинения: в 9 т. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1864–1883.
 54. Дилакторская, 1999 — *Дилакторская О.Г.* Петербургская повесть Достоевского. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 348 с.
 55. Долинин, 2020 — *Долинин А.А.* «Гибель Запада» и другие мемы: Из истории расхожих идей и словесных формул. М.: Новое издательство, 2020. 158 с.
 56. Дорофеев, 2020 — *Дорофеев Д.Ю.* Античные философы в православных храмах: истоки зарождения и причины распространения иконографической традиции // Визуальная теология. 2020. № 2 (3). С. 70–94.

57. Достоевская, 1987 — *Достоевская А.Г.* Воспоминания / вступ. статья, подгот. текста и примеч. С.В. Белова и В.А. Туниманова. М.: Правда, 1987. 544 с.
58. Достоевская, 1992 — *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении своей дочери / вступ. статья, подгот. текста и примеч. С.В. Белова. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. 246 с.
59. Достоевский, 1992 — *Достоевский А.М.* Воспоминания / вступит. статья, подгот. текста и примеч. С.В. Белова. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. 395 с.
60. Достоевский, 1972–1990 — *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
61. Достоевский, 1995 — *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Издание в авторской орфографии и пунктуации / под ред. В.Н. Захарова. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995. Т. 1. 685 с.
62. Загоскин, 1983 — *Загоскин М.Н.* Рославлев, или Русские в 1812 году / вступ. статья и коммент. А. Пескова. М.: Правда, 1983. 416 с.
63. Золотые стихи Пифагора, 2017 — Золотые стихи Пифагора, объясненные и впервые переведенные в эвмолпических французских стихах, предваряемые рассуждением о сущности и форме поэзии у главных народов земли / пер. с фр. В. Ткаченко-Гильдебрандта. СПб.: Алетейя, 2017. 272 с.
64. Ибн Хишам, 2007 — *Ибн Хишам.* Жизнеописание Пророка Мухаммада, рассказанное со слов аль-Баккаи, со слов Ибн Исхака аль-Мутталиба (первая половина VIII века) / пер. с араб. Н.А. Гайнуллина. М.: Умма, 2007. 656 с.
65. Иванов, 1987 — *Иванов В.И.* Достоевский и роман-трагедия // *Иванов В.И.* Собр. соч.: в 4 т. / под ред. Д.В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 399–436.
66. Ирвинг, 1857 — *Ирвинг В.* Жизнь Магомета / пер. с англ. П. Киреевского. М.: В Университетской типографии, 1857. 290 с.
67. Искюль, 2017 — *Искюль С.Н.* Война и мир в России 1812 года. 2-е изд., доп. СПб.: Петрополис, 2017. 848 с.
68. Исупов, 2010 — *Исупов К.Г.* Историческое познание в художественном опыте Ф.М. Достоевского // *Исупов К.Г.* Русская философская культура. СПб.: Университетская книга, 2010. С. 114–143.
69. Кайгородов, 1980 — *Кайгородов В.И.* Об историзме Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. 1980. Т. 4. С. 27–40.
70. Кайданов, 1817 — *Кайданов И.К.* Руководство к познанию всеобщей политической истории. СПб.: В типографии Иосифа Иоаннесова, 1817. Ч. 1: Древняя история. 196 с.
71. Канунова, 1998 — *Канунова Ф.З.* Оппозиция христианства и наполеонизма в русской литературе 1830–1850-х годов и некоторые методологические проблемы ее изучения (В.А. Жуковский, Г.А. Батеньков, Н.В. Гоголь) // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX ве-

- ков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сборник научных трудов. / отв. ред. В.Н. Захаров. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1998. Вып. 2. С. 178–190.
72. Карамзин, 1966 — *Карамзин Н.М.* Полн. собр. стихотворений / вступ. статья, подгот. текста и примеч. Ю.М. Лотмана. М.; Л.: Сов. писатель, 1966. 424 с.
73. Карамзин, 1984 — *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника / изд. подгот. и примеч. сост. Ю.М. Лотман и др. Л.: Наука, 1984. 717 с.
74. Касаткина, 1997 — *Касаткина Т.А.* Цитата // Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник / сост. Г.К. Щенников. Челябинск: Металл, 1997. С. 241–242.
75. Касаткина, 1999 — *Касаткина Т.А.* «Рыцарь бедный...»: пушкинская цитата в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1999. № 1. С. 301–307.
76. Касаткина, 2003 — *Касаткина Т.А.* Комментарии // *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: в 9 т. / под ред. Т.А. Касаткиной. М.: Астрель, АСТ, 2003. Т. 4. С. 594–687.
77. Касаткина, 2004 — *Касаткина Т.А.* О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М.: ИМЛИ РАН, 2004. 480 с.
78. Касаткина, 2007 — *Касаткина Т.А.* Предисловие // Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения / под ред. Т.А. Касаткиной; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН. М.: Наука, 2007. С. 3–9.
79. Касаткина, 2015 — *Касаткина Т.А.* Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 528 с.
80. Касаткина, 2023а — *Касаткина Т.А.* Кир Персидский и «Физиология» Льюиса в «Преступлении и наказании» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2023. № 4 (24). С. 93–128.
81. Касаткина, 2023б — *Касаткина Т.А.* «Откровение Иоанна Богослова» в романе Достоевского «Идиот»: Жена-город // Новый мир. 2023. № 9. С. 179–190.
82. Касаткина, 2024 — *Касаткина Т.А.* Пространство за пределами времени: Десятая глава Апокалипсиса в ключевой метафизической сцене романа «Идиот» // *Studia Litterarum.* 2024. Т. 9, № 2. С. 218–237.
83. Кастело, 2004а — *Кастело А.* Бонапарт / пер. с фр. Л.Д. Каневского. М.: Центрполиграф, 2004. 527 с.
84. Кастело, 2004б — *Кастело А.* Наполеон / пер. с фр. Л.Д. Каневского. М.: Центрполиграф, 2004. 683 с.
85. Кирпотин, 1978 — *Кирпотин В.Я.* Избранные работы: в 3 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 3: Разочарование и крушение Родиона Раскольников. 751 с.
86. Кирхейзен, 1993 — *Кирхейзен Г.* Женщины вокруг Наполеона. Тольятти: ПМКФ «Лада-Маком», 1993. 333 с.

87. Кирхейзен, 1997 — *Кирхейзен Ф.* Наполеон Первый: в 2 т. М.: ТЕРРА, 1997. Т. 1: Его жизнь и его время / пер. с нем. М. Кадиш; предисл. А. Дживелегова. 287 с.
88. Ключевский, 1993 — *Ключевский В.О.* Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М.: Мысль, 1993. 415 с.
89. Ковалевский, 1995 — *Ковалевский П.И.* Наполеон I и его гений // *Ковалевский П.И.* Психиатрические эскизы и истории: в 2 т. М.: Терра, 1995. Т. 2. С. 271–484.
90. Корбелла, 2024 — *Корбелла К.* «Дон Кихот» М. де Сервантеса в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2024. № 2 (26). С. 29–52
91. Кошелев, 2003 — *Кошелев В.А.* Изводы национально-исторического «мифа» в творческом сознании Пушкина (Пугачев и Наполеон) // Наполеон. Легенда и реальность: Материалы научных конференций и наполеоновских чтений. 1996–1998. М.: Минувшее, 2003. С. 213–230.
92. Кронин, 2008 — *Кронин В.* Наполеон / пер. с англ. С. Струкова. М.: Захаров, 2008. 559 с.
93. Куриев, 2020 — *Куриев М.М.* Это Н. М.: У Никитских ворот, 2020. 592 с.
94. Ламартин, 2013 — *Ламартин А.* История жирондистов: в 2 т. / пер. с фр. Н.С. Кутейникова. М.: Захаров, 2013. 496 с.
95. Лас-Каз, 2010 — *Лас-Каз граф.* Мемориал Святой Елены, или Воспоминания об императоре Наполеоне: в 2 кн. / пер. Л.Н.Зайцева. М.: Захаров, 2010. Кн. II. 584 с.
96. Леви, 2006 — *Леви А.* Душевные качества Наполеона // Повседневная жизнь Наполеона Бонапарта: Леви А. Душевные качества Наполеона; Массон Ф. Наполеон I в придворной и домашней жизни / пер. с фр. послесл. и коммент. В.Е. Климанова. Жуковский; М.: Кучково поле, 2006. С. 5–300.
97. Лермонтов, 2014 — *Лермонтов М.Ю.* Собр. соч.: в 4 т. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2014.
98. Лесков, 1958 — *Лесков Н.С.* Собр. соч.: в 11 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 11. 864 с.
99. Лодей, 2009 — *Лодей Д.* Талейран: Главный министр Наполеона / пер. с англ. И.В. Лобанова. М.: АСТ, АСТ МОСКВА, 2009. 509 с.
100. Любятинская, 2006 — *Любятинская У.С.* Исторические воззрения Ф.М. Достоевского: По материалам «Дневника писателя»: дис. ... канд. истор. наук. М., 2006. 193 с.
101. Людвиг, 1998 — *Людвиг Э.* Наполеон / пер. с нем. Е. Михелевич. М.: Захаров, Вагриус, 1998. 592 с.
102. Максимов, 1991 — *Максимов В.Е.* Собр. соч.: в 8 т. М.: ТЕРРА, 1991. Т. 2. Семь дней творения. 519 с.
103. Манфред, 1998 — *Манфред А.З.* Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1998. 624 с.

104. Мармеладов, 1992 — *Мармеладов Ю.И.* Тайный код Достоевского. Илья-пророк в русской литературе. СПб.: Петровская Академия Наук и Искусств, 1992. 144 с.
105. Маршан, 2003 — *Маршан Л.-Ж.* Наполеон. Годы изгнания: Мемуары. М.: Захаров, 2003. 782 с.
106. Маскевич, 2019 — *Маскевич Е.Д., Тихомиров Б.Н.* Из юных лет Михаила и Федора Достоевских (Новые архивные материалы 1837–1839 гг.) // Неизвестный Достоевский. 2019. Т. 6. № 2. С. 56–93.
107. Медников, 2012 — *Медников И.Ю.* Нашествие «Антихриста»: французы в зеркале Войны за независимость Испании // Французский ежегодник. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 295–313.
108. Мейер, 1967 — *Мейер Г.А.* Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»). Опыт медленного чтения. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967. 517 с.
109. Мельникова, 2012 — *Мельникова Л.* Ангел и демон. Александр и Наполеон в восприятии современников // Родина. 2012. № 6. С. 74–76.
110. Мережковский, 1914 — *Мережковский Д.С.* Полн. собр. соч.: в 24 т. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914.
111. Мережковский, 1993 — *Мережковский Д.С.* Наполеон / послесл. А.Н. Николукина. М.: Республика, 1993. 319 с.
112. Мережковский, 2000 — *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский / изд. подгот. Е.А. Андрущенко. М.: Наука, 2000. 587 с.
113. Местергази, 1999 — *Местергази Е.Г.* Князь Мышкин и проблема веры в романе Достоевского «Идиот» // Достоевский и современность. Материалы XIV Международных Старорусских чтений 1999 года. Старая Русса, 1999. С. 69–71.
114. Мочульский, 1995 — *Мочульский К.* Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. 608 с.
115. Назиров, 1982 — *Назиров Р.Г.* Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1982. С. 52–69.
116. Наполеон, 2003 — *Наполеон Бонапарт.* О военном искусстве. Избранные произведения / предисл. Е.В. Тарле. М.: Эксмо, 2003. 800 с.
117. Наполеон III, 1865 — *Наполеон III.* История Юлия Цезаря. СПб.: Изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1865. Т. 1. 465 с.
118. Наполеон. Годы величия, 2002 — *Наполеон. Годы величия 1800–1814: В воспоминаниях секретаря Меневаля и камердинера Констана.* М.: Захаров, 2002. 476 с.
119. Наполеон с причетом, 1813 — *Наполеон с причетом своим, или Характеристическое и биографическое описание властителя Франции и пресловутых его братьев, гражданских и военных чиновников, герцогов, маршалов и генералов, имевших участие и действие при вторжении Наполеона в Россию 1812 года.* М.: В Университетской тип., 1813. 36 с.
120. Нечаев, 2010 — *Нечаев С.Ю.* Антинаполеон. М.: Грифон, 2010. 352 с.
121. Нечаев, 2013 — *Нечаев С.Ю.* Талейран. М.: Молодая гвардия, 2013. 388 с.

122. Нечаева, 1972 — *Нечаева В.С.* Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время» 1861–1863. М.: Наука, 1972. 317 с.
123. Нечаева, 1975 — *Нечаева В.С.* Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха» 1864–1865. М.: Наука, 1975. 303 с.
124. Нечаева, 1979 — *Нечаева В.С.* Ранний Достоевский, 1821–1849. М.: Наука, 1979. 288 с.
125. Николай Полевой, 1934 — Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов / ред., вступ. статья. В. Орлова. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. 541 с.
126. Нисбет, 2007 — *Нисбет Р.* Прогресс: история идеи / пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и Г. Сапова. М.: ИРИСЭН, 2007. 555 с.
127. Ньютон, 2007 — *Ньютон И.* Исправленная хронология древних царств. М.: РИМИС, 2007. 656 с.
128. Одинокоев, 1981 — *Одинокоев В.Г.* Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского. Новосибирск: Наука, 1981. 145 с.
129. Океанский, 1999 — *Океанский В.* Локус Идиота: введение в культурофонию равнины // Роман Достоевского «Идиот»: раздумья, проблемы. Иваново: ИвГУ, 1999. С. 179–200.
130. Панченко, 2020 — *Панченко Д.В.* Ликург — небесный покровитель Спарты // *Schole.* Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. Т. 14, № 2. С. 674–692.
131. Печатнова, 2020 — *Печатнова Л.Г.* История Спарты: период архаики и классики. Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2020. 635 с.
132. Писемский, 1959 — *Писемский А.Ф.* Собр. соч.: в 9 т. М.: Правда, 1959.
133. Пискунова, 2007 — *Пискунова С.И.* «...Кроме нас четвером». Роман «Идиот» в зеркале «Дон Кихота Ламанчского» // Вопросы литературы. 2007. № 1. С. 165–189.
134. Плутарх, 1994 — *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания: в 2 т. / изд. подг. С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1994. Т. 1. 702 с.
135. Подосокорский, 2007а — *Подосокорский Н.Н.* Картина наполеоновского мифа в романе «Братья Карамазовы» // Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения / под ред. Т.А. Касаткиной; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН. М.: Наука, 2007. С. 98–114.
136. Подосокорский, 2007б — *Подосокорский Н.Н.* Достоевский и его творчество в современных российских учебниках истории // Достоевский и XX век / под ред. Т.А. Касаткиной. М.: ИМЛИ РАН, 2007. Т. 1. С. 625–639.
137. Подосокорский, 2009а — *Подосокорский Н.Н.* Наполеоновская тема в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»: дис. ... канд. филол. наук. Великий Новгород, 2009. 176 с.
138. Подосокорский, 2009б — *Подосокорский Н.Н.* Голядкин в роли «русского Фоблаза» (Ф.М. Достоевский и Ж.Б. Лувре де Кувре) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2009. № 2 (42). С. 171–178.

139. Подосокорский, 2009с — *Подосокорский Н.Н.* Наполеоновский миф в романе «Идиот»: биография генерала Иволгина // Русская литература. 2009. № 1. С. 145–153.
140. Подосокорский, 2012 — *Подосокорский Н.Н.* Ещё раз о Наполеоне из подполья // Достоевский и современность. Материалы XXVI Международных Старорусских чтений 2011 года. Великий Новгород, 2012. С. 305–309.
141. Подосокорский, 2020 — *Подосокорский Н.Н.* Легенда о Ротшильде как «Наполеоне финансового мира» в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2020. № 1 (9). С. 31–50.
142. Подосокорский, 2022а — *Подосокорский Н.Н.* Религиозный аспект наполеоновского мифа в романе «Преступление и наказание»: образ «Наполеона-пророка» и мистические секты русских раскольников-почитателей Наполеона // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2022. № 2 (18). С. 89–143.
143. Подосокорский, 2022б — *Подосокорский Н.Н.* «Наполеоновский» Петербург и его отражение в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2022. № 4 (20). С. 71–135.
144. Подосокорский, 2023а — *Подосокорский Н.Н.* «История» Ф.К. Шлосера в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Текст. Книга. Книгоиздание. 2023. № 33. С. 65–77.
145. Подосокорский, 2023б — *Подосокорский Н.Н.* Книга Ж.Б.А. Шарраса о Ватерлооской кампании в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Литературный факт. 2023. № 4 (30). С. 128–147.
146. Подосокорский, 2023с — *Подосокорский Н.Н.* Наполеон-Солнце в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2023. № 2 (22). С. 57–105.
147. Полевой, 1904 — *Полевой Н.А.* История князя Итальянского, графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских войск. М.: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. 346 с.
148. Померанц, 1990 — *Померанц Г.С.* Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М.: Сов. писатель, 1990. 383 с.
149. Пономарева, 2018 — *Пономарева Г.* Время жизни Обломова и князя Мышкина // Русская словесность. 2018. № 2. С. 58–64.
150. Потоцкая, 2005 — *Потоцкая А.* Мемуары графини Потоцкой, 1794–1820 / пер. с фр. А.Н. Кудрявцевой; предисл. В.Е. Климанова; примеч. В.Е. Климанова и А.Н. Кудрявцевой. М.; Жуковский: Кучково поле, 2005. 304 с.
151. Пушкин, 1977–1979 — *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979.
152. Пюимеж, 1999 — *Пюимеж Ж. де.* Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма / пер. с фр. В.А. Мильчиной. М.: Языки русской культуры, 1999. 400 с.

153. Радищев, 1988 — *Радищев А.Н.* Сочинения / вступ. статья, сост. и коммент. В. Западова. М.: Худож. лит., 1988. 687 с.
154. Ризенкампф, 1990 — *Ризенкампф А.Е.* Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Достоевский Ф.М. в воспоминаниях современников: в 2 т. / вступ. статья, сост. и коммент. К. Тюнькина; подгот. текста К. Тюнькина и М. Тюнькиной. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 176–184.
155. Розанов, 1996 — *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Лит. очерки. О писательстве и писателях / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М.: Республика, 1996. 702 с.
156. Ростопчина, 2019 — *Ростопчина Е.П.* Собр. соч. в 6 т. М.: Дмитрий Сечин, 2019. Т. 2 / сост., коммент. А.М. Ранчина. 783 с.
157. Русский вестник, 1856 — Русский вестник. 1856. Т. V. Сентябрь. Кн. II. 228 с.
158. Савельев, 1990 — *Савельев А.И.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Достоевский Ф.М. в воспоминаниях современников: в 2 т. / вступ. статья, сост. и коммент. К. Тюнькина; подгот. текста К. Тюнькина и М. Тюнькиной. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 163–170.
159. Сараскина, 2011 — *Сараскина Л.И.* Достоевский. М.: Молодая гвардия, 2011. 825 с.
160. Свительский, 2000 — *Свительский В.А.* «Сбились мы. Что делать нам!..». К сегодняшним прочтениям романа «Идиот» // Достоевский и мировая культура. Альманах. 2000. № 15. С. 205–228.
161. Синельников, 2007 — *Синельников Ф.М.* Жизнь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова / предисл. Е.П. Абрамова; перепеч. с изд. 1813–1814 гг., с испр. СПб.: Русская симфония, 2007. 480 с.
162. Скотт, 1995 — *Скотт В.* Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов: в 2 т. / коммент. Д.М. Туган-Барановского. М.: Эхо, 1995.
163. Слоон, 1997 — *Слоон В.* Новое жизнеописание Наполеона I: в 2 т. М.: Алгоритм, 1997. Т. 1 / пер. с англ. В.Л. Ранцова. 588 с.
164. Смарагдов, 1844 — *Смарагдов С.Н.* Руководство к познанию новой истории для средних учебных заведений, сочиненное С. Смарагдовым, адъюнкт-профессором Александровского лицея. СПб.: Французская тип., 1844. IV. 612 с.
165. Смирнова, 2021 — *Смирнова Е.Л.* Достоевский и античность: классическое образование в пансионе Л.И. Чермака // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8, № 2. С. 5–33.
166. Собрание стихотворений, 2015 — Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. Юбилейное издание / подгот. текстов и приложений И.А. Айзикова, В.С. Киселёв, Н.Е. Никонова. М.: Языки славянской культуры, 2015. 640 с.
167. Степанян, 2013 — *Степанян К.А.* Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени. М.: Языки славянской культуры, 2013. 368 с.
168. Стерн, 1968 — *Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / пер. с

- англ. и примеч. А. Франковского; вступ. статья А. Елистратовой. М.: Худож. лит., 1968. 687 с.
169. Стэктон, 2012 — *Стэктон Д.* Бонапарты: от императора до наших дней / пер. с англ. И. Кастальской. М.: Захаров, 2012. 416 с.
170. Суворов, 1990 — *Суворов А.В.* Наука побеждать // *Суворов А.В.* Походы и сражения в письмах и записках. М.: Воениздат, 1990. С. 363–372.
171. Суриков, 2022а — *Суриков И.Е.* Солон и его время: в 2 т. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Академия Исследования Культуры, 2022. Т. 2. 336 с.
172. Суриков, 2022б — *Суриков И.Е.* Политические деятели Древней Греции: в 2 т. 2-е изд., испр. М.: Академический проект, 2022. Т. 1: Эпоха формирования и расцвета полиса. 653 с.
173. Сьюард, 1995 — *Сьюард Д.* Семья Наполеона / пер. с англ. Т.С. Бушуевой; под общ. ред. И.П. Щерова. Смоленск: Русич, 1995. 416 с.
174. Талейран, 1959 — *Талейран.* Мемуары. Старый режим. Великая революция. Империя. Реставрация / пер. с франц.; ред. и статья Е.В. Тарле. М.: Изд-во Института Международных отношений, 1959. 440 с.
175. Тарле, 1957–1962 — *Тарле Е.В.* Сочинения: в 12 т. / гл. ред. А.С. Ерусалимский. М.: Изд-во АН СССР, 1957–1962.
176. Тихомиров, 1999 — *Тихомиров В.В.* Мистер Пиквик и князь Мышкин: типология характеров // Роман Достоевского «Идиот»: Раздумья, проблемы. Межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. Г.Г. Ермилова. Иваново: Иван. гос. ун-т, 1999. С.122–135.
177. Тихомиров, 2016 — *Тихомиров Б.Н.* «Лазарь! гряди вон». Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Серебряный век, 2016. 560 с.
178. Толмачев, 2018 — *Толмачев В.М.* Байрон и Наполеон: Опыт интерпретации творческой биографии Байрона и поэмы «Паломничество Чайльда Гарольда» // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2018. № 6. С. 92–109.
179. Топоров, 1995 — *Топоров В.Н.* «Господин Прохарчин». К анализу петербургской повести Достоевского // *Топоров В.Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс» — «Культура», 1995. С. 112–192.
180. Трачевский, 1900 — *Трачевский А.С.* Наполеон I. Его жизнь и государственная деятельность. Биографический очерк. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1900. 112 с.
181. Троицкий, 1988 — *Троицкий Н.А.* 1812. Великий год России. М.: Мысль, 1988. 348 с.
182. Троицкий, 1994 — *Троицкий Н.А.* Александр I и Наполеон. История в лицах. М.: Высшая школа, 1994. 304 с.
183. Троицкий, 2020 — *Троицкий Н.А.* Наполеон Великий: в 2 т. / подг. к публ. М.В. Ковалева, Ю.Г. Степанова. М.: Политическая энциклопедия, 2020.

184. Тургенев, 1960–1968 — *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. Сочинения в 15 т. М.; Л.: Наука, 1960–1968.
185. Тургенев, 1982– — *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма в 18 т. М.: Наука, 1982– (издание продолжается).
186. Уайт, 2022 — *Уайт М.* Беседы с Исааком Ньютоном / предисл. Б. Брайсона; пер. с англ. К. Льюренте. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. 112 с.
187. Улитин, 2023 — *Улитин А.Ю. и др.* Эпилепсия — болезнь гениев? // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023. Т. 15. № 1. С. 70–84.
188. Федоров, 1974 — *Федоров Г.А.* Пансион Л.И. Чермака в 1834–1837 гг. (по новым материалам) // Достоевский. Материалы и исследования. 1974. Т. 1. С. 241–254.
189. Федоров, 2003 — *Федоров Н.Ф.* Философия общего дела: в 2 т. М.: АСТ, 2003.
190. Фигёр, 2007 — *Фигёр Т.* Воспоминания кавалерист-девицы армии Наполеона / пер. с фр., предисл., коммент. С. Нечаева. М.: Эксмо, 2007. 192 с.
191. Фукс, 1827 — *Фукс Е.* Анекдоты князя Итальянского, графа Суворова-Рымникского. Изданные Е. Фуксом. СПб.: Тип. Александра Смирдина, 1827. 193 с.
192. Храмова, 1997 — *Храмова Л.В., Михнюкевич В.А.* Наполеон // Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник / сост. Г. К. Щенников. Челябинск: ЧелГУ, 1997. С. 100–102.
193. Цицерон, 1994 — *Цицерон.* Об ораторе / пер. Ф.А. Петровского // Цицерон. Эстетика: Трактаты, Речи. Письма. М.: Искусство, 1994. С. 162–372.
194. Черепнин, 1968 — *Черепнин Л.В.* Исторические взгляды классиков русской литературы. М.: Мысль, 1968. 383 с.
195. Черкасов, 2010 — *Черкасов П.П.* Политические реформы Александра II в донесениях и отчетах посольства Франции в Санкт-Петербурге // Новая и новейшая история. 2010. № 3. С. 142–163.
196. Черкасов, 2019 — *Черкасов П.П.* Первые лица Франции: от Генриха IV до Эмманюэля Макрона. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2019. 689 с.
197. Чернова, 2000 — *Чернова Н.В.* «Господин Прохарчин» Ф.М. Достоевского и народная праздничная площадь XIX века // Филологические записки: Вестник литературоведения и языковедения: Вып. 14. Воронеж, 2000. С. 26–40.
198. Чернова, 2001 — *Чернова Н.В.* «Господин Прохарчин» (Символика огня в «петрушечном контексте») // Статьи о Достоевском: 1971–2001 / Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге; состав. и отв. ред. Б.Н. Тихомиров. СПб.: Серебряный век, 2001. С. 38–55.
199. Шайтанов, 2001 — *Шайтанов И.О.* История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 т. М.: ВЛАДОС, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. Т. 1. 208 с.

Николай Подосокорский.
История в творчестве Ф.М. Достоевского

200. Шатобриан, 1995 — *Шатобриан Ф.-Р. де*. Замогильные записки / пер. с фр. О.Э. Гринберг и В.А. Мильчиной; вступ. статья и примеч. В.А. Мильчиной. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. 736 с.
201. Шеллинг, 2013 — *Шеллинг Ф.В.* Философия мифологии: в 2 т. / пер. с нем. В.М. Линейкина; под ред. Т.Г. Сидаша, С.Д. Сапожниковой. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2013.
202. Шлоссер, 1861 — *Шлоссер Ф.К.* Всемирная история: в 18 т. / пер. под ред. Н. Чернышевского. СПб.: Изд. А. Серно-Соловьевича, 1861. Т. 1. 495 с.
203. Шлоссер, 1868–1877 — *Шлоссер Ф.К.* Всемирная история: в 8 т. 2-е изд. СПб.; М.: Изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1868–1877.
204. Штейнберг, 1980 — *Штейнберг А.З.* Система свободы Ф.М. Достоевского. Paris: YMCA-press, 1980. 144 с.
205. Штейнберг, 2017 — *Штейнберг А.* Дневники (1909–1971). Ф.М. Достоевский / сост., подгот. текста и коммент. Н. Портновой. М.: Модест Колеров, 2017. 384 с.
206. Эккерман, 1986 — *Эккерман И.-П.* Разговоры с Гете в последние годы его жизни / пер. с нем. Н. Ман; вступ. статья Н. Вильмонта; коммент. и указатель А. Аникста. М.: Худож. лит., 1986. 669 с.
207. Balzac, 1839 — *Balzac H. de*. Eugénie Grandet. Paris: Charpentier, 1839. 336 p.
208. Hugo, 1831 — *Hugo V.* Les Feuilles d'automne. Bruxelles: Louis Hauman et Comp, 1831. 194 p.